

**АРБУЗ.** Как любой букварь открывается картинкой арбуза — кто не помнит его алую мякоть, полосато-зелёную корку и чёрные семечки? — так, пожалуй, арбузом откроем и мы кулинарный словарь. Тем более что букварь и словарь — это братья: и тот, и другой сообщают о главном, о базовом знании, как бы вручают нам те кирпичи, из которых мы строим картину своего мироздания.

И вот перед нами лежит самый первый “кирпич”: буква “А” — и сахарный алый ломоть, истекающий розовым соком, над которым кружит пара ос, своим напряжённым брузжаньем как будто ещё добавляя арбузу и спелости, и красоты. Ведь арбуз — он не просто арбуз: это символ щедрого лета, знак его изобилия и полноты. Арбуз — это знойные полдни, короткие тёплые ливни, это лиловая вязкая грязь чернозёмной дороги, это коршун, плывущий в промытой дождём синеве, это полынь-подорожник в сквозной тени лесопосадок, где мы сели перекусить...

Наш арбуз можно даже не резать, а молодецки разбить кулаком: он треснет и распадётся на несколько крупных, крупитчато-алых долей. Кажется, арбуз разорвал себя сам, не выдержав собственной спелости и полноты. Теперь достанем из сумки полбуханки чёрного хлеба — и приступим к обеду.

---

\* Надеюсь, тень Евгения Баратынского не явится взыскивать с меня за название его поэмы, поставленное заглавием кулинарного словаря. Но более подходящего названия этому сочинению найти мне не удалось. (Автор)

Хлеб с арбузом прекрасно подходит друг другу, особенно если хлеб поздравит и душист, а арбуз сладок. Едим, аж трещит за ушами, да пощёлкивают на зубах арбузные семечки, которые мы время от времени сплёвываем в руку, любуемся их гладко-лаковой чернотой, и жалеешь стряхнуть со своей, уже липкой от сладкого сока, ладони. Да и семечкам жаль расставаться с тобой: они липнут к руке, и приходится шаркнуть ладонью о жёсткую траву.

До чего же хорош наш обед! Поглощая вот эту сладчайшую мякоть, да ещё заедая её свежим хлебом, мы словно и сами становимся частью этого полдня в степи, этой неги и благодати лета. Только жаль, что арбуз быстро съеден — вон, только корки белеют в пожухлой траве, и по ним деловито снуют муравьи, — жаль, что нам скоро вставать, расставаясь с насыщенным местом. Может, лучше вздремнём, чтоб не топтать по самому пеклу? Тем более, мы осоловели от сытости и смотрим на всё словно сквозь её поволоку.

Ложишься ничком, прямо там, где сидел и взахлёб жевал сладкий арбуз, и почти моментально проваливаешься в забытё, из которого вынырнешь только минут через сорок, изумлённый, не понимающий, где ты находишься и с неперменной сухой травинкой, приставшей ко всё ещё липкой от арбузного сока щеке...

“АРТЕМИДА”. “Артемида” — не только богиня охоты, но ещё и название греческого кафе, в котором мы ели вкуснейших кальмаров, запивая их местным вином. Мы с Еленой подошли к нему с задворок, и я поразился тому, до чего же здесь всё затрапезное и до боли родное: бурьян, козы, куры, ржавые вёдра и чугунки на плетне, сонный пёс возле будки да покосившаяся калитка. “Какая же это, — подумал я, — Греция? Это наша Россия: даже запах сухого навоза тот самый, который мне памятен с детства”. А уж мальвы — их розовые цветы на высоких прогонистых стеблях знакомы мне лет, наверное, с трёх. И даже пчёлы сюда залетели как будто из детства, их клубящийся гул словно запутывал само время, которое больше не знало, куда ему течь, и сонно крутилось в блаженном бреду настоящего...

Моя бы воля, я бы так и остался где-нибудь здесь, на завалинке, в тени пожелтевшей от зноя акации, и сидел бы, слушая пчёл, что гудели над розовой мальвой. Это надо же было уехать Бог знает куда, чтобы вновь окунуться в ту вечно юную дряхлость русского сельского быта, которая так мне мила и знакома.

Но долго побыть на задворках кафе “Артемида” не удалось. Мы завернули за угол и оказались перед просторной верандой, лежащей в тени полосатых маркиз. Помню зажимы, которыми были прихвачены бумажные скатерти на столах, чтоб их не сбрасывал ветер.

Наш заказ был простым: хлеб, кальмары, вино. Так, в простоте, пировали и древние греки: они понимали, что истинно насыщает не то, что стоит на столе и потом наполняет желудок, а то, что питает и радует душу. И здесь, на веранде кафе “Артемида”, этой радости было хоть отбавляй — чего стоили одни виды! Вокруг поднимались склоны аттических бурых холмов, вдали бирюзово светилась полоска Эгейского моря, смуглый мальчик гнал стадо коз по обочине пыльной дороги, от домов ближней деревни доносились звуки “Сиртаки”, а полосатый навес над верандой кафе так надувался и хлопал от ветра, словно это был парус.

Но каковы же, вы спросите, были кальмары? Выловленные сегодняшним утром и обжаренные в оливковом масле, они возвышались на блюде румяною горкой, а рядом желтели лимоны. Их вкус напоминал одновременно и рыбу, и курицу, и при этом был очень простым, как и всё в “Артемиде”.

А разве не просто жили и древние — те, кого мы здесь вспоминали так часто? Вот как, например, начинается “Пир” Платона: “Он встретил Сократа, умытого и в сандалиях, что с тем редко случалось, и спросил его, куда это он так вырядился. Тот ответил:

— На ужин к Агафону...”

И что же они ели-пили на этом пире? Наверное, тоже что-нибудь очень простое: хлеб, вино, сыр, оливки, да ещё, может быть, вот таких же обжаренных в масле кальмаров. Изобилие было в другом: в разговорах и мыслях.

Уж в этом-то древние греки оставили нас далеко позади; и спасибо, хоть здесь, в этом славном кафе “Артемида”, мы вспомнили о настоящих пирах, о высокой и радостной их простоте.

**БАБУШКИН ПОГРЕБ.** В пору, когда я был ребёнком, холодильники на селе были редкостью, и еду хранили в погребах.

Вспоминая бабушкин погреб в Тиму, перво-наперво вижу покатую крышу погребка; на её серых шиферных волнах сушатся дольки нарезанных яблок. Погребок мне, пятилетнему, кажется ветхим и накренившимся домом, который врос в землю настолько, что снаружи осталась одна его дверца. Железная ручка её так нагрелась на солнце, что обжигает пальцы.

Но открыть лёгкую дверцу погребка несложно; гораздо труднее откинуть люк погреба. Я с натугой, с сопением дёргаю ручку, пока, наконец, не откидываю дощатую крышку, прикрывающую вход в подземелье. Передо мною прохладная, вниз уходящая тьма. Земляные ступени кое-как укреплены досками; но земля всё равно осыпается из-под ног, когда я начинаю спускаться, и там, глубоко в темноте, комки земли барабают о крышки невидимых банок с компотом. Вот за ним, за компотом, я и спускаюсь под землю.

Надо сказать, что моя бабушка по отцу, Мария Павловна Панюкова, работавшая провизором районной аптеки, все заготовки — варенья, соления, компоты — исполняла с такой безупречно-аптекарской точностью и аккуратностью, что вишни, груши и яблоки в этих компотах становились вкуснее, чем были в свежем виде. Бабушка сотворяла с каким-нибудь “белым наливом” или грушей-бессемянкой то, что художник творит с человеком, когда пишет его портрет. Отсекая случайное, лишнее, нехарактерное, он защищает человеческий образ от действия времени, изымает его из суеты перемен и сохраняет нетленную суть человека. Так и бабушка: консервируя фрукты и овощи, она защищала их от воздействия времени, и не просто хранила их вкус, форму, цвет, но ещё и проявляла самое характерное в этих плодах, возводила их в некую высшую, недоступную тлению степень. “Консервация”, то есть “сохранение”, становилась воистину схваткой со временем, с тем исконным и непримиримым врагом человека, которого хоть и не удаётся победить окончательно, но всё же возможно заставить остановиться.

И вот бабушкин погреб был тем самым местом, где время останавливалось. Даже я, пятилетний, и то смутно чувствовал: здесь, в прохладе и сумраке, времени как бы не существует. Во тьме подземелья, где нет звуков, движения, света и цвета, не было и ничего, что могло б отмечать его, времени, ход. Поэтому груши и вишни под крышами банок были почти что бессмертны, они пребывали в том мире, где нет перемен.

Спустя много лет, оказавшись в Египте, в подземных склепах Долины Царей, я испытал то же самое, с детства знакомое чувство отсутствия времени. Прохлада, сумрак и тишина — вот именно, что гробовая! — тишина, которую нарушало лишь шарканье ног туристов, и узоры иероглифов на стенах, в которых терялся и путался взгляд, — это был мир, в котором время остановилось. Да и фараоновы мумии в склепах Долины Царей были чем-то вроде консервов — того, чему предназначалось преодолеть смерть и тление и обмануть вездесущее время. Только, ясное дело, бабушкины консервы выглядели куда аппетитнее, чем сушёные фараоны.

...Но пора было и выбираться из погреба. Я наугад брал ту банку, что мне подвернулась, сдувал с её крышки землю и начинал карабкаться вверх, переставляя тяжёлую ношу со ступени на ступень. Земля сыпалась из-под моих рук и ног; чем выше, тем было светлее, и я хорошо уже видел ступени и доски, что их подпирали, и видел тряпки, которыми бабушка затыкала крысиные норы. На середине подъёма всегда останавливался, смутно чувствуя: погреб не хочет меня отпускать. Он исподволь как бы тянул меня вниз, в тишину и прохладу. Но и день, что сиял наверху, — он манил в его знойный блеск, в изобилие света и цвета, в то суетно-яркое коловращение, которое и называется “жизнь”. Я стоял, замерев на той зыбкой черте, что лежит меж поверхностью и глубиной, между светом и тьмой, между жизнью и смертью...

И не так-то уж просто мне было решиться вскарабкаться на очередную ступеньку, то есть выбрать тревогу, тоску, неустойчивость жизни взамен тишины и покоя, которые мне обещал неподвижно-таинственный мир под-земелья...

**БАНАНЫ РИШИКЕША.** Гроздь бананов составляла как раз мой обед в Ришикеше, на севере Индии. Это большая деревня в гималайских предгорьях; и во всём Ришикеше не найти ни куска мяса, ни ломтика рыбы, потому что здесь зона строжайшего вегетарианства.

Больше всего меня удивляло, как живут собаки, которых здесь множество и которые вовсе не выглядят истощёнными или несчастными. Может, они по ночам ловят крыс? Или даже собаки здесь стали настолько миролюбивы, что им хватает растительной пищи?

Встретив рассвет на Ганге, искупавшись в холодной, жемчужно-серой воде, я переходил священную реку по подвесному мосту, под которым лениво всплывали и вновь погружались огромные рыбы (их здесь никто не ловил), а потом брёл по солнечным улочкам Ришикеша. Мне здесь всё очень нравилось: тишина и покой, и мелькание ласточек в небе, и ряды сохнувшего кизяка на зелёной траве перед хижинами, и коровы, свободно бродящие всюду, и щебет, что доносился из крон деревьев, который издавали вовсе не птицы, а шустрые и неутомимые обезьяны. Их здесь водится столько, и они так бесцеремонны, что в ресторанчиках на открытых верандах посетителям иногда раздают бамбуковые палки, чтоб отгонять обезьян.

Не меньше, чем обезьян, в Ришикеше было и нищих, кормление которых я наблюдал с большим интересом. На просторном дворе, под раскидистым фикусом дымилась армейская кухня, к которой выстраивалась живописная очередь из полутора сотен бродяг. Молодые и старые, длинноволосые, с холщёвыми сумками через плечо, нищие — все, как один, — были очень красивы. Лица их были ясны, глаза — глубоки и спокойны. Достоинству, с которым они ожидали свою миску похлёбки, мог бы позавидовать и какой-нибудь принц. Получив порцию чечевичного супа, щедро сдобренного перцем — я как-то попробовал: чистый огонь! — нищие рассаживались по двору и начинали неспешную трапезу. Всё было чинно и благородно; ни суеты, ни жадности, ни беспокойства нельзя было заметить во время раздачи бесплатной еды.

Однако пора было обедать и мне. Не утруждая себя сложным выбором, я подходил к ближайшей тележке, нагруженной фруктами, и за двадцать рупий покупал гроздь бананов: маленьких и невзрачных, но сладких. Садился в тени, с наслаждением вытягивал ноги и не спеша поглощал один банан за другим. До России такие бананы, увы, не довозят: здесь мы едим какие-то суррогаты. А те, в Ришикеше, были настолько вкусны и душисты, что хотелось съесть даже бурую банановую кожуру.

Впрочем, до кожуры быстро находились охотники. Увлечённо жуя, я вдруг услышал сопенье за правым плечом и, обернувшись, увидел печальную морду коровы. Она, шумно вздыхая, тянулась губами к остаткам банановой грозди. Так мы с ней вместе и доедали обед: я очищал очередной банан, сам жевал мякоть, а корове протягивал мясистые лоскуты кожуры. Было приятно чувствовать, как шершавый язык и мокрые губы коровы шлёпают мне по ладони; я легко ей прощал даже то, что она исполняла мне всё плечо.

Не в тот ли момент, когда я трапезничал вместе с коровой, я и почувствовал Индию как не просто страну, но как особенный склад бытия? Я чувствовал: эта корова, чей взгляд так глубок и прекрасен, а вздохи печальны, есть не просто животное, близкое мне, но это как будто я сам. Каждый вздох её так отдавался в душе, словно она за меня самого выражала и мою грусть, и усталость от жизни, и одновременно любовь ко всему, что нас с ней окружало. И великая древняя истина Индии “тат твам аси” — “то — есть ты сам” — вдруг становилась настолько понятна, что я удивлялся другому: да как же я раньше мог жить без неё?

БАТОНЧИК “ЗАДАВАКА”. Почти сутки пришлось провести близ Онежского порта, ожидая моторку, которая могла бы забросить нас на Кий-остров. Порт был безлюден, казалось, он никому в целом мире не нужен. Дебаркадер ржавел; почти все рейсы были отменены; доски и ялики гнили по берегу; несколько тощих собак бродили меж луж, словно тени былого.

Знобящее и беспокойное чувство рождалось в душе при виде всей этой северной шири: Онежской губы, по которой в отлив обнажались десятки оклидых и плоских, как шляпки опят, островов; низких речных берегов, так обдутых ветрами, что даже смотреть на них, и то было холодно; серой онежской воды, которая в час отлива с молчаливою мощью неслась в Белое море, а во время прилива бурливо и нехотя двигалась вспять. На душе было тоже просторно и холодно, ветрено и бесприютно. В том, что порт, оживлённый когда-то, теперь так заброшен, что на берегу, кроме нас с другом да бродячих собак, больше нет ни души, — в этом было, конечно, много печали; но ощущалось ещё и согласие с ходом вещей — с тем движением времени, что уносит следы человека с такою же равнодушною силой, с какою и Онега несёт свои воды в холодное Белое море.

После долгого дня был долгий вечер, и алый закат над Онежской губой, и розовый отблеск по илистым отмелям (был как раз час отлива), и тишина, столь глубокая, что ей не мешали те звуки, которые нас окружали — плеск волн о берег или сипенье сырых досок в костре. Огонь горел ярко и ало, чадил — доски, что мы собирали по берегу, пропитались мазутом — но, странное дело, почти не согривал. Низовой ли, от моря тянущий ветер тому был причиной, или просто костёр был маловат, но сидение возле огня не только не приносило покоя, как это бывало обычно, а словно ещё обостряло тревогу. Где-то в полночь костёр догорел, мы залезли в палатку, но даже сквозь дрёму и сон ощущалось холодное равнодушие Севера. Казалось, мы в мире последние люди и утром, выбравшись из палатки, даже следов человека не сможем найти на пустом берегу.

Правда, утром следы ещё были. Был дебаркадер и перевёрнутый ялик, почти утонувший в песке, и порожние бочки из-под соляры, в которые, словно в громадную флейту, гудел и посвистывал ветер. Ночная тревога не только не стихла, но даже усилилась. Я ходил неприкаянный — всё валилось из рук — и не знал, что мне делать с самим собою и с той безграничною северной ширью, что нас окружала.

— А что, у нас к чаю ничего не осталось? — спросил мой товарищ, пытаясь раздуть ещё тлевшие угли.

— Ничего, — сказал я, вспомнив, что вчера мы ужинали последнею горстью изюма.

И тут стало ясно, что в этом тревожном ознобе, который с вечера не давал нам покоя, виновен не только весь этот северный стылый простор, но и просто-напросто голод.

— Лёш, пока ты разводишь огонь, я схожу в магазин, — сказал я товарищу и зашагал в город.

Минут через десять ходьбы я стоял перед прилавком и спрашивал у круглолицей молоденькой продавщицы:

— Мне бы самых дешёвых конфет. Есть у вас что-нибудь вроде батончиков?

— Дешёвых батончиков? — переспросила девушка и ненадолго задумалась, а потом улыбнулась. — Да, есть! Называется “Задавака”.

— Как-как? — удивился я.

— “Задавака”! — и девушка засмеялась так радостно, так хорошо, что у меня даже заныло в груди. — Вам сколько взвесить?

— Ну, граммов триста...

Скоро я вышел, неся “Задаваку” в кармане и всё ещё улыбаясь. Как же мало, думал я, нужно для счастья, если всего-навсего смех милой девушки, которую я больше никогда не увижу, способен настолько переменить отношение к миру. Да, возвращался я в порт совершенно другим человеком. Всё вокруг было мне интересно: и основательные дома, и их резные наличники,

и палисады, и непривычные деревянные тротуары, скрипуче пружинящие под сапогами, и дощатые будки для лодок почти возле каждого дома.

Когда я вернулся, чай был готов. Мы с другом уселись на брёвнышко, лицом к морю, чья светло-серая полоса поблёскивала на горизонте, и начали неторопливое чаепитие. С каждым терпким глотком и с каждым соевым сладким батончиком, съеденным нами, что-то в душе размягчалось, тепло; даже в ветре, что продолжал тянуть по-над берегом, что-то словно смягчилось. Он казался не так уже зол и не так равнодушен, хотелось не отворачиваться от него, как давеча, а, напротив, подставлять лицо его упругим потягам.

И снова я думал о том, что вот такая мелочь — батончик из сои, да ещё так смешно называющийся, — а как помогает нам жить... Горсть этих мягких конфет в тёмно-красных обёртках, что я высыпал рядом с уже догоравшим костром, и сама была, словно костёр, согревающий нас. Одну “Задаваку” мы бросили рыжей собаке, крутившейся возле нашего лагеря, и она, сразу признав нас за хозяев, легла охранять нашу палатку.

Как раз начинался прилив. Вода реки забурлила и потекла вспять. С каждым плеском волна наступала на илистый берег, и скоро река поднялась до прибрежного вьняка. Отмели и острова утонули, и больше ничто не мешало взгляду скользить к горизонту.

Наконец, затарахтела моторка, и Пётр Моисеевич, с которым мы познакомились накануне, помахал нам из лодки рукой: мол, пора собираться. Уложились мы быстро, и скоро “Казанка”, шлёпая плоским днищем о воду, потащила нас в море. Пётр Моисеевич, несмотря на библейское отчество, по виду был настоящий помор, коренастый и немногословный.

— Болтает, однако! — крикнул он нам, сильно окая, и до самого Кий-острова мы больше не слышали от него ни единого слова. Да и что говорить! Разве перекричишь посвист ветра, плеск волн о борта, крики чаек и переменное — то басовитое, то вдруг скулящее — завыванье мотора?

**БОЛЬНИЧНЫЕ СУДКИ.** С больничной едой я познакомился рано: не оттого, что болел, а оттого, что моя мама-доктор, когда дежурила и не могла накормить меня ужином дома, делилась со мною едой из больничных судков.

Это называлось “снимать пробу”. Прежде чем раздавать больным обед или ужин, санитарка-буфетчица приносила дежурному доктору пробу еды из котлов пищеблока. До сих пор помню, как выглядели эти стопки плоских кастрюлек, поставленных одна на другую и перехваченных общей ручкой-скобой. Обычно кастрюль было три: для супа, “второго” — то есть котлет или гуляша — и для чая или компота.

Отчего та казённая стопка кастрюлек вызывала во мне волну нежности и умиления? Может, мы просто-напросто обречены полюбить то, с чем судьба сводит нас в раннем детстве, и первые впечатления жизни становятся незабываемы? Или и впрямь та больничная пища так уж была хороша? Но как бы то ни было, до сих пор памятен вид и запах больничных, к примеру, котлет, гарниром к которым служило водянистое картофельное пюре. Котлеты, обваленные в сухарях, да и состоявшие, как я теперь понимаю, в основном тоже из хлеба, так упоительно пахли и так сочились янтарным жиром, что их было жаль рвать казённой вилкой из четырёх зубьев, один из которых был обломан, а три оставшихся торчали в разные стороны. Но и котлеты, и вилка были те самые, какие должны были быть, как и чашка с отбитой ручкой, и тарелка с сиротскою синей каймой и с непременно овальным клеймом “Общепита”.

А картофельное пюре? Тогда, ещё в раннем детстве, я на всю жизнь усвоил, что настоящее картофельное пюре и должно быть таким: жидким и синеватым, с комками картофельных тёмных “глазков” и тем характерным вкусом, в котором ты различал даже привкус хлорки, которой буфетчица ополаскивала тарелки. А уж как удавалось буфетчицам одним лишь волшебным движением ложки придавать водянистой картофельной кляксе изящно-волнистый рельеф — это и до сих пор для меня остаётся загадкой.

В казённой еде (в тех же самых больничных судках, что так памятливы мне) содержался особый — не знаю, как это точнее назвать — уют неюта. Такой же уют неюта был и во всей той эпохе, на которую выпали моё детство и юность. Общачи, вокзалы, больницы и лагеря (правда, я был знаком только с пионерскими), санатории, стройки, казармы, бараки — то есть места, где кипела общая жизнь, — были, с одной стороны, бесприютно-унылы, бесцветны, по всей стране одинаковы, и наполнял эти места общей жизни единый казённый и сумрачный дух. Но с другой стороны, ты всегда чувствовал — это было каким-то подкожным, глубинным, мистическим знанием, — что именно в этих местах тебе не дадут пропасть. Если даже окажешься сир и наг, болен или несчастен, гол как сокол, то казённая и неумелая ласка огромной страны обогреет тебя, даст кров и пищу, подыщет работу: тоска, бесприютность и холод казённых пространств обернутся вдруг нежностью, даже любовью...

Вот и в той стопке больничных кастрюль, перехваченных общей ручкой-скобой, содержалась не просто еда (хоть больничную пищу с тех пор и доныне я предпочту иным деликатесам); нет, в тех кастрюльках-судках воплощалась суровая ласка-забота страны обо всех своих детях, пусть даже самых потерянных и непутёвых.

ВИШНИ. С чего начать оду вишням? Не с того ли, как ты, лет уж тридцать назад, сажал гибкие прутики и не верил, что из них когда-нибудь вырастут не просто деревья, а целый вишнёвый сад? И вот этот сад уже вырос, так же стремительно и незаметно, как прошла молодость, а за ней и почти вся жизнь, и весной мы выходим смотреть на цветущие вишни.

Прекрасней всего они в сумерках, когда розовеет закат, — цветом он напоминает вишнёвый компот — и на фоне заката цветущие ветви, теряя отчётливость, становятся то ли воспоминанием, то ли мечтой или грёзой — чем-то, словом, таким, что прекрасней и глубже реальности. И ещё, если вслушаться, цветущие вишни в густеющих сумерках звучат тихой музыкой. Словно кто-то невидимый там, среди белых ветвей, настроивает виолончель; её бархатистые ноты то тянутся, то обрываются, то опять начинают гудеть басовито и нежно. Это гудят внутри облака вишни майские сумеречные жуки. Приглядевшись, их можно увидеть: мохнатые шарики вьются, толкаясь о ветви и даже сбивая порой лепестки. Лепестки эти падают в твою чашку чая и на скамью, на которой ты оцепенел, не решаясь прервать равновесия редкой минуты созерцания цветущих вишен на фоне заката...

Пропустим, пожалуй, май и июнь и вернёмся в наш сад в ту пору, как вишни созрели, и время их собирать. Но почти каждый год нас опережают скворцы. Когда их стая, издавая жужжащие свисты, влетает в густую вишнёвую крону, то кажется: по ветвям и по листьям прошлась волна свежего летнего ливня. Лиственный купол вдруг наполняется щебетом, шумом и дрожью, а на землю срываются алые капли расклеванных птицами ягод. Такие, побитые клювами, вишни вкуснее всего. Подберёшь пару ягод с земли — пальцы тут же окрасятся ярко-вишнёвою кровью, — с наслаждением раздавишь о небо их сочную винную мякоть и будешь долго мусолить во рту две вишнёвые косточки, словно и нет у тебя дел важнее и интереснее, чем это катание косточек на языке.

Скворцы обирают не всё, кое-что остаётся и нам. Стремянку мы так и не завели, поэтому собираем вишни, кто как горазд: и с забора, и с табурета, и с развилок стволов. До сих пор пальцы помнят сопротивление ветки, которую пригибаешь к себе: глянцевиные листья шуршат по лицу, вишни качаются перед глазами. Иную из ягод рвёшь прямо ртом, и ты вдруг на секунду-другую ощущаешь себя частью этого дерева, как бы одной из ветвей, напряжённо несущих груз листьев и ягод.

Когда вишни собраны, лето уже перешло за зенит, и наступают дни варенья. И вот тут я должен описывать, как под деревьями сада в латунном или медном тазу поднимается розовой пеной варенье: описание это для русской литературы ещё неотвратимее, чем знаменитая рифма “морозы-розы”. Но я, хоть убей, не могу точно припомнить: а я-то сам видел такую картину? Или

я только воображал её или, пуще того, только вычитал из чужих описаний?

Иногда кажется, что всё-таки видел: в раннем детстве, в саду одной из двух бабушек, Марии Павловны или Марии Денисовны. А потом опять сомневаюсь: да нет, всё же вряд ли... Наверное, я себе это надумал...

Но откуда ж тогда вижу я жёлтый латунный таз, он такого же цвета, как примус, который гудит под ним напряжённо и туго; вижу розовый венчик пены по краю варенья, пыхтящего алыми пузырями, и чувствую даже тот запах: сладкий, с миндальным привкусом косточек, запах варенья из вишен?

И вообще: откуда приходит к нам то, что мы знаем и любим? Откуда приходят слова, мысли, образы? Из нас ли самих или из того мира, что нас окружает? Или из каких-то нездешних пространств, где как раз и хранится всё то, что и было, и будет, и откуда возник, может быть, этот именно таз с пузырящейся, розовой пеной варенья?..

**ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАШКИ ЧАЯ.** Вот сижу на осеннем балконе, попиваю дымящийся чай, смотрю на сады и на крыши, на рыжую линию дальнего леса, на небо, уже поменявшее розовый утренний свет на дневной, голубой, и думаю: а ведь то, что в руках у меня чашка чая, которую я могу пить, никуда не спеша, — ведь это же настоящее чудо! Сколько всего должно было сойтись и совпасть, случиться — или, наоборот, не случиться, — уравновесить друг друга, поймать миг гармонии в этом негармоничном, куда-то всё время несущемся мире, чтоб я неспешно сейчас поднимал эту синюю чашку, подносил бы к губам, ощущал во рту терпкую горечь, а после смотрел бы сквозь марево чайного пара на зубчатую, рыжую линию дальнего леса...

Во-первых, должно быть всё более-менее ладно в семье и во всём нашем доме. Родители, дети, жена должны быть здоровы, никакие серьёзные неполадки и ссоры не должны омрачать нашу жизнь, соседи должны быть дружелюбны, а такие спокойные дни, как вы понимаете, выпадают не так уж и часто. Во-вторых, там, где я работаю, не должно оставаться тяжёлых, неясных больных, да ещё, не дай Бог, с осложнениями после моих операций. Какое уж там спокойное чаепитие, когда мысли всё время в больнице?

Но, допустим, в семье и в больнице наступило временное затишье. А всё ли в порядке в твоём старом доме? Не засорилась ли фановая система, не завоздушился ли отопительный контур, не капает ли с потолка конденсат, не прохудились ли водопроводные трубы? А ведь дом-то давно уж немолод — он ровесник мне самому — и болеет почти так же часто, как и любой пожилой человек.

Вот ещё, кстати, помеха спокойному, неторопливому чаепитию: собственные болезни. С одной стороны, на здоровье грех жаловаться: на шестом-то десятке я ещё кое-как трепыхаюсь, но, с другой стороны, я давно позабыл то счастливое время, когда о здоровье не думалось вовсе.

Да ладно здоровье — о нём, в конце концов, можно какое-то время не думать, — а как быть с совестью? Разве можно спокойно пить чай, наслаждаясь прозрачной ясностью осени, когда неспокоен “когтистый зверь, грызущий сердце — совесть”? А ведь совесть-то, по-настоящему, никогда и не может быть ни спокойной, ни вполне чистой, потому что все мы в грехах, как собака в репях.

Вот и получается, что возможность спокойного, неторопливо-блаженно-го чаепития стремится к нулю. Рассуждая логически, оно просто-напросто невозможно; а когда оно всё же случается, это и есть настоящее чудо.

Но давайте посмотрим на чайное чудо ещё и с другой стороны. Как много трудилось людей для того, чтобы чашка горячего чая дымилась сейчас перед тобой! Это и сборщики чая где-нибудь на плантациях Индии или Цейлона, и рабочие чаеразвесочных фабрик, грузчики и водители автомобилей, это железнодорожники и продавцы магазинов, и ещё множество разных людей. А те, кто построили дом и вот этот балкон — разве они не вложили свой труд в сегодняшнее чаепитие? А гончары, что слепили вот эту чудесную чашку? А те, кто стоят, так сказать, на страже чайного ритуала: полицейские и коммунальщики, энергетики и дежурные доктора, управленцы и пограничники, и разные там губернаторы или министры, — словом, “вся королевская рать”?



Как подумаешь, чуть ли не всё человечество потрудились или трудится в эту минуту, чтоб ты мог неспешно и благостно выпить вот эту свою чашку чая.

И как же не быть благодарными людям за то, что они подарили? Как не ценить этот дар, как не чувствовать: чашка чая, которую ты сейчас держишь в руке, есть, так сказать, фокус жизни во всех смыслах слова? И фокус, как некое чудо, которого не должно было быть, но которое всё же случилось; и фокус, как точка схождения множества сил, интересов, надежд и энергий.

Так что, когда вам захочется чуда, не стоит ходить далеко — чудеса всегда рядом. Хоть эта вот чашка с дымящимся чаем, хоть вообще всё, что угодно, на что только упал ваш внимательный взгляд; это всё чудеса, которых, сказать откровенно, и быть не должно, но которые всё же случились внутри того главного чуда, которое называется жизнь...

**ГОЛОДНЫЕ ПОХОДЫ.** Вообще-то мы только их так называли — “голодные”, то есть без запаса еды в рюкзаках, — а на самом-то деле редко когда удавалось поесть с таким наслаждением, как в этих самых “голодных” походах.

В них еду воспринимаешь особо: как милость, которую нас одарила дорога. Что бы ни подвернулось — гроздь ли горькой рябины, куст спелой смородины или калины, молодой кукурузный початок, земляничная россыпь в сосновом лесу, горсть липовых почек или сладкое корневище рогоза, — ты всему этому радуешься, словно ребёнок подарку. Да и сам превращаешься на это время в ребёнка. Ты с таким любопытством рассматриваешь, ощупываешь, нюхаешь, пробуешь очередной дар дороги на вкус, как бывало лишь в раннем детстве, когда ты познавал мир непосредственно: через его вкус, запах, форму и цвет. Это уже потом пришло время абстракций, заморозочно-отвлечённых понятий о мире; но абстракции порой напоминают замороженные продукты в пластиковых упаковках, те, что лежат в супермаркетах: через их целлофановый холод трудно почувствовать цвет, вкус и запах живой, настоящей еды.

В этом смысле “голодный” поход — это встреча с реальностью безо всяких посредников, так сказать, носом к носу. Уже ради этого — то есть освежения в себе самом чувства жизни — стоит странствовать с полупустым рюкзаком. Обычно мы брали с собой только чай, да немного овса и изюма, чтобы подстраховаться на случай какой-нибудь крайней бескормицы.

Но встреча с реальностью, о которой я здесь рассуждаю, — она порой требует и немалых затрат. Чтобы себя прокормить, нужно много труда и терпенья. Разве просто поймать, а потом запечь в углях змею? Да пока нажжёшь сами угли, сойдёт семь потов. Или, шаря руками по илистой отмели, стоя по пояс в воде, собирать пресноводных перловиц или беззубок? А надирать ленты липовой заболони, потом крошить их ножом мелко-мелко — иначе не прожухёшь — и часа полтора варить суп из коры? А собирать чернику или бруснику, когда комаров вокруг столько, что ближайшие кочки, кусты, сапоги и свои распухшие руки видишь в каком-то звенящем дыму? А выдирать корневища рогоза, ощущая, как под ногами зыблется, чавкает и пускает болотные газы трясины?

Но всё равно, как бы ни было трудно, — эти хлопоты по добыванию пищи были некой игрой, в которую ты играл с детским, давно уж забытым азартом. Возвращенье к ребёнку в себе было главным, что ты находил в этих самых “голодных” походах.

Не забудем и то, что вместе с движением к личному детству, ты приближался и к “детству” всего человечества. Ведь то собирание разных плодов и корнеьев, моллюсков и листьев, ягод, зёрен и почек, которым ты занимался в походе, было именно тем, чем на самой заре человечества занимались и первобытные люди. Ещё прежде того, как они научились рыбачить или охотиться, или, тем более, возделывать землю, они просто-напросто собирали то, что им дарил мир. Наверное, и Адам со своею лукавой подругой, когда были выдворены из Эдема, стали шарить в траве или листьях деревьев, отыскивая что-нибудь на пропитание.

Но ведь это же значит, что мы, собиратели, как бы двигаясь вспять по пути человечества и приближаясь к его, человечества, “детству”, тем самым становимся ближе и к раю. Нас больше не отделяют от него те препоны и стены, которые воздвигла цивилизация; собирая плоды и корни, мы слышим дыхание райских садов, потому что живём в это время вот именно тем, что Бог дал...

**ГОРОХОВЫЙ СУП.** Приходилось ли вам есть настоящий гороховый суп? Может статься, и нет, потому что такой суп готовят в немногих, особых местах.

Я всегда удивлялся: почему никакой из супов, что мне доводилось по-есть, не шёл ни в какое сравнение с тем гороховым супом, которым меня, как дежурного доктора, кормили в больнице? Все иные супы — в том числе и гороховые, но “небольничные” — были словно бледные копии с оригинала, дышавшего жизнью и силой. Такой густоты, аромата и вкуса, как в больничном гороховом супе, нельзя было встретить нигде: ни в гостях и ни дома, ни в простецких столовых, ни в дорогих ресторанах.

Но вот как-то раз судьба занесла меня в крымский посёлок Вилино. В центре его располагалась столовая: там кормили сезонников, приезжавших на сбор винограда. И вот сижу я в полупустой столовой, попиваю вино прошлогоднего урожая и жду, когда будет готов мой любимый гороховый суп. Спешить некуда — в Крыму вообще торопиться нельзя, — и я с интересом разглядываю, как за стойкой раздачи, отделяющей залу столовой от кухни, меж огромных кастрюль неторопливо и важно проплывают грудастые поварахи. Вот одна из них сняла крышку кастрюли — взлетел, клубясь, пар — и, помешивая шумовкой, стала что-то высматривать в недрах бурлящего варева. Судя по запаху, это и был долгожданный гороховый суп. Но странно: над рыжим, бугристым, клокоцущим озером супа время от времени появлялись два треугольных плавника. Можно было подумать, что в супе гоняются друг за другом акулы. “Что за диво?” — недоумевал я. И вдруг повараха, засучив рукава, ухватила сначала один, а потом и другой треугольник и, натужась, потянула их из бурлящего варева.

Я подумал, что брежу: из недр клокотавшей кастрюли, словно подлодка из океанских глубин, всплывала громадная, страшная морда свиньи! Волны супа стекали с её оскаленного рыла, оставляя кружки моркови и лука на кожистых складках, а звериные глазки смотрели пронзительно-злобно...

Повараха, кряхтя, перебросила эту громадную голову в эмалированный таз, отёрла лоб тылом ладони и крикнула мне:

— Ну что, суп-то есть будешь?

И вот уже я, вместе с тарелкой густейшего и ароматного супа, нёс от стойки раздачи и разрешение давнишней загадки. Теперь-то я знал, почему лишь в огромных больничных котлах да в кастрюлях такой вот столовой гороховый суп получается так наварист и густ. Ибо где ещё можно сварить — целиком! — свиную голову, которая и превращает обычный гороховый суп в кулинарный шедевр?

**ГРИБНАЯ РАДОСТЬ.** Тема грибов начинается в сумраке леса, с треска веток под сапогами, со шмыганья разных там мышек-лягушек в ногах, с паутин, которая липнет к лицу, и с бродильного запаха лиственной прели, чем гуще который, тем больше шансов вот-вот набрести на грибы. А тут ещё космы лишайников и нашлётки зелёного мха на стволах, и далёкие крики: “Ау-у!”, и огненный куст бересклета, который заставил тебя обойти вокруг него, любуясь на алые ягоды-серьги и розово-полупрозрачные листья.

Но недаром же то, чем ты занят сейчас, называют “грибная охота”. Желание найти гриб нарастает в душе с такой силой, что первый сегодняшний боровик появляется, кажется, даже не столько из вороха рыжей листвы возле старого пня, сколько именно из твоего желания отыскать его. Словно вспышка, округлая бурая шляпка на миг ослепляет, ты содрогаясь, как от удара, а потом со счастливой улыбкой падаешь перед грибом на колени...

Можете, если угодно, смеяться, но в этом тягостном, всё нарастающем напряжении поиска, затем краткой вспышке-разрядке, что вдруг сменяется приступом слабости, в этом есть нечто почти эротическое. Во всяком случае, я нередко встречал в лицах молодых женщин, выходящих с полной грибной корзиной из леса, такое счастливое изнеможение, словно они только что предавались любви, а не просто искали грибы.

Но мы отвлеклись. Грибная охота — ещё не кулинария (а пишем мы именно кулинарный словарь), но всего только подступы к ней. Пропустим, пожалуй, и то, как мы, еле живые, в поту, в паутине и лиственном соре вышли из леса (сделав пару вёрст крюку, до крови сбив ноги, но всё же не бросив корзину с грибами), пропустим то, как потом до полуночи всей семьёй перебирали грибы, и как всё в квартире пропахло грибным духом, и приблизимся сразу к столу, на котором, среди прочих закусок, стоит миска солёных груздей.

Да, внешне они неказисты. Даже сахарно-белые кольца лука, которыми сверху присыпаны эти буро-зелёные ломти, даже горка сметаны, белеющей на краю грибной миски, не очень-то добавляют им привлекательности. Грузди кажутся вялыми, сонными, и не скажешь, взглянув на них мельком, что это одна из прекрасных закусок. К тому же, ослизлые эти лепёшки так и норовят ускользнуть из-под вилки, которою ты, раздражаясь всё более, тычешь в грибную тарелку. Не хватало ещё — как порой и бывало — неловким движением вытолкнуть скользкую эту лепёшку на стол, и потом, чертыхаясь, ловить на испачканной скатерти груздь, который — ах ты, зараза! — уползает всё дальше и дальше, скрываясь то за бутылкой “Столичной”, то за гранёною вазочкой с винегретом. В конце концов — ну, не мерзавец ли? — гриб прыгает на колени красивой соседке, которая охает и, скорей всего, с этой минуты тихо возненавидит тебя...

Но допустим, что всё обошлось, и ты загарпунил груздь тяжёлою вилкой с пожелтевшим от времени костяным черенком. Теперь аккуратно зачёрпываем сметану: чтобы она покрывала половину гриба. Пока произносится тост и вышивается — залпом, на выдохе! — рюмка ледяной водки, сметана никоим образом не должна капнуть с гриба, а должна вся, вместе с груздем, оказаться на твоём языке, опалённом холодной водкой.

И вот тут для груздя настает его звёздный момент. Ух, как он захрустел, брызнул соком, как упруго затрещал на зубах, как солёной волною обдало гортань, и как ты, не в силах сдержаться, застонал, замычал, замотал головой! По тебе словно вдруг пропустили электрический ток: ты помолодел лет на десять, и глаза твои вновь загорелись азартною радостью жизни.

Ну, что — по “вторительной”, как говорил один мой знакомый? Тем более, гости, похоже, раскушали грузди: миска с ними пустеет стремительно, и, если будешь зевать, то придётся закусывать традиционной селедкой.

**ГРУШИ СТАРЫХ САДОВ.** Бывало, бредёшь в одиноком походе и заходишь в какой-нибудь старый заброшенный сад на окраине тихой деревни. Здесь-то, думаешь, и пообедаю: тем, что найду под деревьями, да натрашу с узловатых ветвей. Вон стоят две полужасохшие яблони, чуть поодаль — несколько слив, окружённых густой юной порослью; но взгляд привлекает, конечно же, груша — высокое статное дерево, редкое в наших калужских краях. Сейчас ранняя осень, и груша очень красива. Багрянец листвы отлиывает синевою, то медью; желтовато-зелёные грушки висят высоко — не достать! — впрочем, эти, высокие, нам пока и не нужны. Вполне обойдёмся и паданкой: тем, что лежит меж корней, под шуршащей багряной листвою, испуская дурманящий винный запах.

Похоже, не я один люблю падшие груши: вон сколько ос вьётся под деревом! Их гудение, их полосато-клубящийся танец всегда воскрешает далёкое детство, когда я увлекался изучением ос и когда книга Фабра “Жизнь насекомых” была для меня интереснее любых сказок. Надеюсь, что и сегодня, в память о былой дружбе, они со мною поделятся грушевым сладким обедом.

Первым делом снимаю рюкзаки, разминаю затёкшие плечи, а уж потом опускаюсь на корточки и начинаю искать в траве самые сладкие, полусопревшие груши. Трудно даже сказать, что же именно заключено внутри их бурой потрескавшейся кожуры. Каким словом назвать эту крупитчато-сочную, бурю мякоть? Это не то забродивший компот, не то грушевое варенье, не то вино — сладкое, очень душистое и даже немного хмельное. Стоит выдернуть из невзрачной коричневой груши её черенок, — он отделяется с чмоканьем, словно пробка бутылки, — и мякоть груши начинает дразнить тебя терпким, хмельным ароматом. Эти сладкие груши не столько жуёшь, сколько именно пьёшь, глоток за глотком поглощая вино опустевших осенних садов...

И сейчас я прошу своего двойника, который уселся под деревом и, отгоняя выющихся ос, поедает душистые груши: пожалуйста, не торопись! Когда ещё выпадет вот такой же пронзительный день, состоящий из золота листьев и синевы предосеннего неба? Когда ещё ты посидишь на жухлой траве, созерцая и ос, и деревья осеннего сада и слыша протяжный крик петуха из соседней деревни? И когда ещё вон тот лунь, что, раскинув белёдые крылья, кружится над садом, будет тебе так же близок и так интересен? Ты следишь за парящею птицей, лунь следит за тобой — и вы оба, созерцая друг друга, обнаружите как бы ось всего дня, на которой вращается всё его золото и синева...

Нет, всё же груши хмелят: трезвому взгляду навряд ли всё то, что он видит, покажется столь же таинственно-непостижимым. И эти деревья, и осы, и космы пожухлой травы, и твоя собственная ладонь, на которой лежит эта бурая груша, в разломе которой искрится коричневый сок — что всё это значит, чего ждёт от тебя и что хочет тебе объяснить? Но, боюсь, если я даже съем все груши этого сада, мне и тогда не приблизиться к тайне того, чем на самом-то деле является эта душистая груша, которую я держу на ладони...

ГУСИ. Вот сейчас, написав слово “гуси”, я собрался порассуждать о гусе рождественском: о запечённых в нём яблоках, о коричневой корочке, чуть приставшей к жаровне и оттого ещё более вкусной, о гузках и крыльях — обо всём, словом, том, что так нравится нам смаковать за рождественской трапезой.

Но вдруг вспомнилось совершенно иное — и перо побрело по другому пути. Я вспомнил холмистую курскую степь, блестящий внизу, под холмом, пруд-ставок и гусиное стадо, вразвалку ковыляющее на водопой. Дорога спускается по косогору, и над ней дрожит марево, сквозь которое всё кажется зыбким и призрачным. Только резкие крики гусей сопротивляются зною: если бы не этот бодрящий отрывистый рёгот, можно было бы совсем одуреть от жары.

Гусям, видно, тоже неважно. Время от времени кто-то из них, вытянув шею, бьёт крыльями, но от этого никому не становится легче, и только горячая пыль завивается над косогором. И тут вожак — грузный, серый, огромный — принимает решение лететь. Шлёпая лапами, он разгоняется, и за ним, реточа, припускает всё стадо. Вот громадные птицы, одна за другой, начинают распахивать крылья, гнать ими пыль и, уже в облаке пыли, продолжается полу-бег, полу-лёт исполошённой гусиной станицы.

Поразителен этот порыв, этот бунт против косной, мучительной тяжести жизни! Кажется, грузные птицы, чьи гузна почти волочатся в пыли, давно позабыли свободу и радость полёта, и нет в мире сил, что способны поднять их на крыло. Но, видно, позор несвободы страшнее, и гуси, как им ни тяжко, стараются всё ж оторваться от пыльной земли, по которой всё чаще хлопают их могучие крылья...

Наконец, вожак поджал лапы, и его серая туша уже низко-низко летит над землёй! За ним оторвался другой, третий — и вот уж всё стадо, шумя, словно буря, несётся над косогором. Кажется, окажись на пути этих птиц — тебе снесут голову их громадные крылья. И вот уже гуси — быстрее, чем ты сумел описать их полёт, стали падать на зеркало пруда. Они, словно бомбы, разбили-разбрызгали воду, и ещё долго над взбаламученным прудом стоял торжествующий, радостный рёгот гусей...

**ДАР БОРОВСКА.** Этот дар был вручён нам троим: мне, Виталию и Валере. Мы приехали в Боровск октябрьским пасмурным утром и, направляясь в Пафнутьевский монастырь, шли от автостанции в сторону храма Бориса и Глеба. Вдруг в одной из подворотен я увидел стоявшую на асфальте непечатую водочную бутылку. Немного посомневавшись, мы всё-таки взяли бутылку с собой. Хозяина всё равно нигде видно не было, и, если б не мы, так следующий прохожий непременно б её прихватил. Всё, в конце концов, решили слова, которые произнёс кто-то из нас: “Это нам подарок — а от подарка отказываться грешно”.

Мы продолжили путь: мимо храма Бориса и Глеба, затем по мосту над Протвой, а затем по дороге вдоль поймы, откуда были видны купола и кресты храмов древнего города. Поднявшись к погосту села Роща и оттуда ещё раз полюбовавшись на Боровск, мы стали спускаться в долину реки Истерма, к белеющим среди сосен стенам и башням монастыря. Нашли отца Зосиму, знакомого нам молодого монаха, затем отстояли долгую службу, а потом, в пустующей келье, куда нас Зосима определил на ночлег, мы решили достать найденную нами бутылку.

— Вот, отец Зосима, сомневаемся: можно ли её употребить? Не отравиться бы: мало ли что там налито...

Зосима разрешил наши сомнения самым решительным образом.

— Ставьте бутылку на стол, малoverы! Я её отчитаю.

— Как это?

— По-нашему, по-православному. Против силы молитвы никакая отравка не устоит.

И он, осенившись крестом, стал громко читать 90-й псалом.

— ...Не убоишия от страха ночнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме переходящия, от сряца, и беса полуденнаго...

Чуть не волосы дыбом вставали от гудения царственных слов, от их звука и смысла, от их торжествующей мощи.

— ...На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу свою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия...

В молчании, что наступило, когда псалом был дочитан, даже бутылка, стоявшая посередине стола — и та, казалось, тихонько звенела: словно молитва физически действовала на неё.

Стоит ли говорить, что после “отчитки” мы смело разлили бутылку на четверых? Зосима, подняв свой стакан, произнёс:

— Ну, что? Пост закончился — выпьем же, чтоб не впасть в грехи более тяжкие. Слава Те, Господи!

**ДЖИМБОЛОС.** Джимболос — есть такое чудесное крымскотатарское слово. Оно означает подбор винограда уже после того, как прошли сборщики, срезали большую часть урожая, с плантации сняли охрану, и на виноградник теперь может зайти каждый, кому это не лень.

Нам было не лень. Когда мы спускались с хребта Эчки-Даг и видели, как внизу, на небольшом винограднике, прилепившемся к склону, десятка полтора сборщиц уже садятся в тракторную тележку и как затем старенький “Беларусь”, фыркая синим выхлопом, увозит их по дороге на Щebetовку.

— Джимболос, джимболос! — радостно восклицал мой двенадцатилетний сын Димка, кидаясь к рядам виноградных шпалер.

Курчавые, жёсткие, рыже-зелёные виноградные плети только на первый взгляд были пустыми. Если нагнуться, пошарить в листве — можно было найти тяжёлые бледно-зелёные конусы, в которых ягоды были сбиты так плотно, что каждая гроздь напоминала кукурузный початок. Их и приходилось кусать, как початок, не отделяя ягоды одну от другой, при этом сладчайший сок брызгал на щёки, на руки, на грудь, и скоро все мы оказались засахарены с головы до ног. Такого сладкого винограда никому из нас прежде есть не доводилось.

— Это технический сорт, — пояснил Дим Димыч Марков, знаток Крыма и виноделия. — Он идёт на десертные вина.

Но мы и без вин уже были словно хмельными: и от неожиданного утешения, и от полынного воздуха Крыма, и от тех видов, что нам открывались со склона. С одной стороны поднимались морщинисто-бурые волны хребта Эчки-Даг, сухие и древние, как лицо старика, а с другой стороны мерно накатывали на берег фиолетово-чёрные, в белых прожилках пены, тяжёлые волны Эвксинского Понта.

— Смотрите, дельфины! — завопил Димка, показывая рукой вдаль.

Мы всмотрелись. Действительно, по морской зыби катились округлые чёрные спины дельфинов. Не сам ли, подумалось мне, бог Посейдон нёсся на этих колёсах — стремительных, гладких, бесшумных? Вообще, ощущение, что мы оказались в Элладе, укреплялось едва ли не с каждой минутой. И сухие, кремнистые склоны холмов, и курчавая вязь виноградаря, и ритмичные вздохи прибоя, а тут ещё и замелькавшие спины дельфинов — всё было античным и, значит, родным. Все мы, в сущности, родом из Греции, из античных камней и сыпучего треска цикад, из бодрящего зноя Эллады. Вот и виноград, что мы подбирали на склонах хребта Эчки-Даг, был тоже античным: каким-то невысказанно древним и, в то же самое время, таким молодым и живым...

Продолжение дня было тоже прекрасным. К вечеру мы добрались до Судак и заночевали в гроте меж Генуэзскою крепостью и Новым Светом. Смеркалось по-южному быстро; шум шоссе наверху затихал, зато нарастал шум прибоя внизу — там, где море вздыхало и пенилось в бурых камнях. Надвигалась гроза. Хорошо, что мы знали о гроте и успели залечь в его щель ещё до того, как обрушился ливень.

Всё, что мы видели из расщелины грота, — скалы, море и мыс Меганом — исчезло за белой кипящей завесой. В частых промельках молний казалось, что струи воды не срываются вниз со скалы, а возносятся вверх. Стало ясно: сегодня из грота мы больше не выйдем.

— Ну, что ж, будем ужинать! — распорядился по праву старейшего Дим Димыч. — Доставайте, что там осталось от джимболоса.

Буханку мягкого белого хлеба, купленного в Судак, мы разрезали на четверых, и раздали каждому по тяжёлой кисти сладчайшего винограда. Свежий, с кислинкою хлеб и виноградные сладкие ягоды так подходили друг другу, словно они были чем-то единым. Помнится, мы поглощали свой ужин в молчании, наслаждаясь им и прислушиваясь к грозе. Вспышки молний выхватывали из темноты нас, четверых сотрапезников, в отчётливо замерших позах: вот чья-то рука, вот кус хлеба, вот зубы, что впились в гроздь винограда, как будто гроза решила нас сфотографировать в декорациях крымского скального грота, чтоб мы отпечатались в вечности. И — кто знает? — может, и впрямь эти снимки доселе хранятся в каком-то вселенском архиве?

**ДИМЛАМА БУХАРЫ.** Положа руку на сердце, должен сказать: я нигде не встречал столь вкусной еды, как в Средней Азии. Вот даже не знаю, какое из тамошних кушаний взяться описывать? Может, плов, что я ел в Самарканде, на задворках парадной площади Регистан: золотистую гору из риса, моркови, гороха, на склоне которой лежал кус говядины? Или вспомнить ту ошхану на базаре Ургенча, где я пообедался тушёными потрохами, столь вкусными, что я позабыл всё на свете — даже то, что мне пора ехать в Хиву? А лагман в Навои? А самса в Шахризабсе? А шашлык в Гиждуване? А ташкентский люля-кебаб?

Нет, лучше вот что. Вспомню-ка я димламу Бухары. Я только-только приехал, поселился в старинном доме Мубиджона-аки — дому было двести семьдесят пять лет, а хозяину — семьдесят пять, но оба казались на редкость сохранны — и пошёл поискать, где бы перекусить. Подходящая ошхона подвернулась неподалёку, на берегу Ляби-Хауза: бухарец сразу поймёт, о чём я говорю. Из блюд, что мне были предложены, я выбрал шурпу — душистую, в блёстках янтарного жира, — но всё же посетовал:

— Досадно: вторую неделю нигде не могу найти димламы!

Хозяйка всплеснула руками:

— Что вы говорите! А приходите-ка завтра, вот в это же время, я приготовлю для вас димламу.

На том и расстались. И, стыдно признаться, но на другой день свидания с димламой я ждал так, как, бывало, ждал встречи с какой-нибудь юной красоткой. С утра маялся и не знал, куда себя деть. Сходил в баню, что на Зелёном базаре, напился там чаю, потом листал книги в букинистической лавке, потом рассматривал украшения из фирузы на лотках ювелиров, но мысли мои были всё об одном: “Как там моя димлама?”

Наконец, настал час обеда. Хозяйка, приветливо улыбаясь, поставила передо мной на клеёнчатый стол синий чайник кок-чая, тарелку с тандырной лепёшкой, пиалу с густым, ароматным говяжьим бульоном и, наконец, глубокую синюю миску, в которой дымились гора димламы.

Всё это было очень красивым, так сказать, ориентально-орнаментальным. Узоры тарелки, пиалы и миски, горячая пряная смесь димламы, витиевато-однообразная музыка, что доносилась в открытые двери от Ляби-Хауза, перестук молотков от ремесленных лавок, крики разносчиков — всё сливалось в единую арабеску, в орнамент из перетекавших друг в друга узоров, как зрительных, так и звуковых.

Но когда я взял ложку и стал понемногу зачёрпывать димламу, я впал в забытьё и почти перестал понимать: где же я нахожусь? Мир, такой пёстрый и звучный, куда-то пропал, а осталась одна димлама. И сейчас из той трапезы я могу вспомнить только фрагменты. То лист капусты на ложке, то пятно солнца на рыжей клеёнке стола, то взгляд весёлой хозяйки, украдкой следящей за тем, как я ем, то тёплая мякоть лепёшки, которую я отрываю...

Но разделение мира на эту вот пёструю смесь, оно происходило вовсе не от его, мира, ущербности, а, напротив, от избыточной его полноты. Окружающий мир был настолько богат, изобилен и щедр — что любая частица его представляла собой как бы тоже особенный, яркий и радостный мир. А уж димлама — та и вовсе казалась мне целой вселенной. Чего только не было в этой пёстрой, сочащейся груди: морковь и капуста, картофель и перец, куски мяса и жира, какие-то, мне неизвестные, специи — и всё это, словно живое, вздыхало и двигалось, когда ложка перемешивала димламу. Казалось, из этой вот яркой и пламенной смеси, томящейся в миске, можно создать ещё один мир — подобный тому, что уже сотворён.

Но, как я ни восхищался лежащей передо мною картиной, я азартно и жадно, мыча от восторга, её поедал. Я не мог удержатъ свою руку и ложку, не мог не жевать, не глотать и, увы, димлама убывала. Ложка всё чаще стучала о дно, и сердце сжималось: я чувствовал словно вину пред этим вот блюдом, которое я торопливо уничтожал... Из-за стола я встал с таким грустным видом, что хозяйка даже встревожилась:

— Вам не понравилось? Что-то было не так?

Но как было ей объяснить, что, напротив, её димлама оказалась столь хороша, что, когда она кончилась, мне стало очень печально? Я, как мог, успокоил хозяйку и распустился — её кулинарный шедевр, как и вся еда в Азии, оказалась на удивленье дешёвым, — а потом вышел на улицу, на плящее солнце и в пыль Бухары. Той порой, как я брёл по глиняным улицам, меж саманных дувалов, тандыров и кузниц, печаль сытости мало-помалу меня отпускала, но мне ещё долго мерещилась синяя миска, в которой дымились гора димламы...

**ДОБАВКА.** Такое знакомо, наверное, многим. Только сядешь к обеденному столу, распробуешь какое-нибудь, особенно нынче удавшееся, любимое блюдо — овощное, к примеру, рагу или макароны по-флотски — и вдруг почувствуешь шевеленье неясной тревоги. Что-то мешает тебе наслаждаться едой безмятежно, что-то царапает душу и наполняет её почти страхом — глубинным, подспудным, но всё-таки страхом пред будущим. И почти машинально, сам не успев осознать, что с тобой происходит, спрашиваешь хозяйку — причём спрашиваешь каким-то заискивающим, именно что испуганным голосом:

— А добавка есть?

Она улыбнётся тебе, как ребёнку, и, утешая, ответит:

— Есть, есть — не бойся...

И как груз упал с плеч: сразу стало спокойнее, легче, словно развеялась некая мгла впереди. Может, это смешно, но для меня без добавки и обед не обед. Причём совершенно не важно, велика ли она, но добавка должна обязательно быть, чтобы страшная истина “скоро конец” (а она ведь маячит почти за каждым явлением жизни, да и за всей жизнью в целом) была хоть немного прикрыта, замаскирована существованием добавки.

По сути, надежда на то, что к трапезе будет добавка, есть надежда на нечто большее, чем просто-напросто продолжение еды. Ожидая добавки, я смутно надеюсь, что земной наш конец — ещё не конец, и тогда, когда он настанет, явится щедрая и милосердная чья-то рука и предложит нам некое продолжение жизни уже после того, как она завершилась. Можно сказать, мы и живы-то только надеждой на то, что в пустыне грядущего нам будет явлено нечто отрадное, то, ради чего нам и стоит терпеть эти тяготы жизни. Мечта о добавке — надежда на то, что дары бытия бесконечны.

А можно на всё посмотреть и с другой стороны. Вот сейчас, живя свою жизнь, я уже получаю добавку, и должен быть благодарен судьбе. Ведь мой путь, в общем, пройден: позади тридцать лет хирургии, позади путешествия, позади целый воз семейных забот и трудов, позади, словом, жизнь. Можно было бы уйти и сейчас. Как говорил один герой Достоевского, больше сорока лет живут только конченные мерзавцы, но так уж случилось, что мне выпала некая как бы добавка: жизнь после прожитой жизни. Что, как не добавка, и то, что я слышу агуканье внучки Анюты (ей на днях исполнился месяц), и то, что я до сих пор могу размышлять вот над этой, пестрящей помарками рукописной страницей?

**ДЫНЯ.** Выбор дыни на рынке — процесс, доставляющий радости чуть ли не больше, чем её поедание. Сам выход за дыней — уже праздник, особенно в августе, в ту изобильную пору, когда за зелёными горами полосатых арбузов почти не видны кепки их продавцов, а запах дынь, персиков, груш, слив и яблок затопляет ряды гомонящего, шумного рынка.

Рынок в августе — торжество земледелия. Всё, что может дарить нам земля, — как калужские, местные супеси или суглинки, так и южные чернозёмы — всё лежит на лотках и прилавках, всё радует глаз живописным разнообразием. Чего стоят одни помидорные алые груды или холмы разноцветных, словно светящихся, перцев, или снопы прино пахнущей зелени — укропа, петрушки, кинзы, базилика и рукколы, — меж которыми бродишь, как в райском саду? А вёдра вишен? А банки смородины — белой, красной и черной, — при одном виде которых рот уже полон слюной?

Но сегодня нам нужны именно дыни. Поэтому, не отвлекаясь на прочие искушения и соблазны, мы будем искать дынный ряд. Ага, вот и он. Здесь мы, пожалуй, задержимся. Выбор дыни, как и служение музам, не терпит суеты; поэтому надо сначала прийти в себя, настроившись на созерцательно-благостный лад.

Главный помощник при выборе дыни, конечно же, нос. Зрение зачастую только мешает, отвлекая на мелочи и пустяки; но всего больше мешает сейчас продавец, суетливый и масляноглазый, который назойливо сует тебе дыню в руки, восклицая:

— Командир, возьми эту! Ай, хороша! Потом скажешь: спасибо, Рахмет!

Приходится остановить его:

— Не мельтеши.

Рахмет обиженно замолкает, и вот теперь, наконец, можно спокойно взять дыню в руки, понюхать её, как младенца, и подержать возле лица. Да, запах есть, но он сыроват ещё, с зеленцой: значит, дыня незрелая. А вот у этой, которую ты взял следом, наоборот, ощущается переспелая вялость. А третья — так та вообще лишена всякого запаха; её-то, кстати, и предлагал мне Рахмет, в масляных глазах которого обида сменилась на уважение: мало кто выбирает дыню так кропотливо, как это делаю я.



Приходится перепахать чуть не два десятка разнообразных дынь — больших и маленьких, золотистых и зеленоватых, шершавых, как пятка, и гладких, как камень-голыш, — пока, наконец, не почувствуешь как бы толчок изнутри, и внутренний голос не скажет: “Да, это она!”

Вообще, мир запахов — удивительный мир, и о нём об одном можно написать целую книгу. Недаром пророк Магомед говорил: “В земной жизни больше всего я любил женщин и ароматы”. Вот и дынный, такой сладковатый и тёплый, податливый запах чем-то напоминает женщину: в нём есть что-то неуловимое, полное неги и обаяния — то, от чего уже не оторваться. “Да, это она...” — думал ты, прижимая избранницу к сердцу. Пусть она с виду и неказиста, с одного бока помята, а с другого зеленовата, но запах её, словно ласковый ветер, обвеял тебя и позвал за собой...

Этим тёплым её ароматом потом будет пропитано всё: и рюкзак, в котором ты понесёшь дыню домой, и твои руки, в которых лежало шершавое, продолговатое дынное тело. Даже в салоне автобуса, который тебя повезёт на Бушмановку, люди будут оглядываться с удивлённой улыбкой: запах дыни будет их волновать, пробуждая, быть может, какие-то давние и сокровенные воспоминания.

А дома, едва ты перешагнёшь за порог, дочка Даша радостно крикнет из комнаты, ещё даже не видя тебя: “Ура — папа дыню принёс!”

**ЗЕМЛЯНИКА.** Представьте себе крутой берег Угры, летний полдень и землянику под соснами, в редкой траве, пересыпанной рыжею хвоей. Наша байдарка только что ткнулась форштевнем в песок, мы вышли на берег, чтобы размяться, но запах нагретой смолы, земляники и хвои заставил нас позабыть обо всём на свете. Мы разбрелись по сосновому склону, по пятнам солнца и тени и словно растаяли в роскоши этого полдня. Кто-то уже и упал на колени: земляники так много, что можно буквально ползти, собирая её, по подстилке из хвои.

Кажется, то, что сейчас происходит, — это какой-то счастливый и солнечный сон, это сказка, в которой мы оказались случайно и не по заслугам. Словно суровый взгляд жизни где-то за нами недоглядел, и мы неожиданно вырвались из-под гнёта реальности, ускользнули в лазейку, ведущую в рай, к земляничным полянам Угры...

На склоне под соснами так хорошо, что случалось и задремать, прямо здесь, в неглубоком окопчике, что остался с войны. Сквозь непрочную дрёму слышен и ветреный шум в кронах сосен, и плеск переката, и гул оводов и шмелей, проносащихся, словно тяжёлые пули, над самым окопом. Эти пули шмелей, и окоп, и обрывки “колючки”, и ржавые каски — фронт в этих местах стоял целых два года — напоминают, что здесь, где теперь летний солнечный рай, был когда-то и ад. “Здесь чья-то жизнь дрожала”, как сказал один хороший писатель; и крови на этих вот склонах краснело не меньше, чем нынешним днём — земляники.

Но мысли об этом не только не гасят, а лишь обостряют твою благодарность за всё, что вокруг: за эти вот сосны, за зной безмятежного полдня, за запах смолы, земляники и хвои, который сильнее всего именно там, где ты лёг, придавив своим телом полдюжины ягод.

Земляника, которой так много, скорее всего, не отпустит нас быстро и заставит разбить здесь бивак. Под соснами встанут палатки, шишки, падая, будут звенеть по их туго натянутым тентам; потом затрещит костерок, и его сизый дым поплывёт по-над склоном, добавляя к запаху земляничных полян горьковатую ноту.

А ночью, когда небо над соснами будет усыпано звёздами, земляничные склоны покажут ещё одно чудо. Стоит отойти от костра и привыкнуть к потёмкам, как взгляд различит, что по склону, который спускается к тихо журчащей Угре, бледно светятся зеленоватые огоньки. В иные погожие ночи светлячков высыпает так много, что береговой склон кажется отражением звёздного неба, и ты начинаешь угадывать в зеленоватом мерцании как бы контуры созвездий. Или это — подумаешь вдруг — светятся земляничные ягоды, те, что набрали за долгий день зноя и солнца?

Но без светлячков, как и без земляники, летний рай будет неполон; интересно, подумаешь, а в настоящем раю, куда все мы мечтаем попасть, будет ли там земляника, и сосны, и зеленоватые огоньки светлячков? Хочется верить, что всё это будет и что нам доведётся ещё собирать землянику на солнечном склоне под соснами, в редкой траве, пересыпанной рыжею хвоей...

**ИСЦЕЛЕНИЕ МОРЕМ.** Не писать же подробно о том, как мы вышивали с Ришатом? Как тепла была крымская ночь, как звенели цикады, а море, вздымая, шипело по гальке пологой волной?

Портвейн же, которым нас угощал наш случайный знакомый, был просто чудесен. Густой и душистый, он пах виноградом и солнцем и не туманил ни взгляда, ни мыслей, а как-то, напротив, всё прояснял: после пары стаканов портвейна жизнь становилась понятна, проста и тепла — как эти вот гладкие камушки, что лежат на ладони...

Но так было ночью, пока мы сидели на галечном пляже посёлка Весёлое, пока раздавались тяжёлые, мерные вздохи прибоя, а звёзды висели над нами так низко, что их при желании можно было потрогать, вот только лень было встать да поднять руку к небу.

Наутро же зябкий рассвет открыл совершенно иную картину. Туман залил всё побережье; граница не только притихшего моря и серого неба, но даже моря и берега как-то размылась; всё в тумане казалось безжизненным, плоским и серым. Причём трудно было понять: окружающий мир так размыт, удручающе сер, или это в похмельной твоей голове всё смешалось настолько, что ты видишь мир таким скучным и плоским?

Путаясь в собственных вялых руках и ногах, я вылез из спальника — мы спали у кромки прибоя — и шагнул в воду: уж море-то, я надеялся, сможет меня освежить. Я грёб усердно, проплыл метров сто, но легче не становилось. Пологие гладкие волны вздымали меня, затем опускали; от этой раскачки лишь только сильнее мутило. Хуже всего была злая похмельная жажда. “Эх, сейчас бы рассолу...” — с тоскою подумал я.

Вдруг меня осенило: да я же плыву в этом самом рассоле! Бросив грести и чуть отдышавшись, я сделал два полных глотка горьковатой солёной воды. Больше, я знал, пить опасно: уж что-то, а книги о кораблекрушениях я в детстве читал.

Но и то, что я выпил, меня исцелило. Голова прояснилась, дышать стало легче, и плыл я уже не с усилием, как минуту назад, а почти с удовольствием. Больше того: я увидел, как быстро редет туман, и как открывается берег от мыса до мыса, до скал на востоке, откуда вот-вот должен был появиться алый солнечный диск. Поразительно, но причащение морю, которое я совершил, исцелило не только меня, но словно исправило весь окружающий мир, которому вновь возвращались его многоцветность, объём, глубина.

Я плыл к берегу, ощущая себя частью моря, которое было вокруг, и чувствуя, как теперь море стало частью меня, моей собственной крови. На пёстрой, морем омытую гальку я вышел ну, если не как Афродита из пены морской, то всё же много свежее, чем был недавно.

Как раз проснулся Дим Димыч, наш седой “адмирал”, и внимательным взглядом окинул меня.

— Экий ты свежий — как огурец! Морем, что ли, опохмелялся?

— Так точно! — отрапортовал я ему, и мы рассмеялись просто-напросто оттого, что проснулись в Крыму, на морском берегу, и впереди нас ждал новый день, полный дорог, встреч и приключений.

**КАПУСТА.** Из всех овощей, составляющих наш рацион, едва ли не первое место принадлежит капусте. Уж если сам Диоклетиан променял римскую власть на капустную грядку, значит, тайна капусты и впрямь велика. Это тайна, по сути, самой жизни и, уж конечно, она много глубже всего, что связано с мелким тщеславием власти.

Действительно: что нам римская власть? Ну её к лешему — кесарю, как говорится, кесарево. Лучше полюбоваться капустною грядкой: тем, например,

как широкие бледно-зелёные листья покрыты испариной крупной росы, или как дождь сечёт по тугим кочанам, и каждый из них гудит, словно барабан, или тем, как над грядкой порхают белянки, которые любят капусту не меньше, чем любил её император Диоклетиан.

А как приятно взять в руки тяжёлый, прохладный, поскрипывающий кочан! Он отзывается тугим хрустом на каждое пожатие рук, он словно разговаривает с тобой, подавая бодрые реплики.

Этот хруст кочана и воспоминания пробуждает какие-то бодрые и молодые. Вот сейчас вспомнилось, как я, по наказу матери, шёл за капустой в овощной магазин на Хрустальной. Мне было тогда лет тринадцать, а день был ноябрьский, седой и хрустящий от инея. И не было лучше контраста, чем поздняя осень окраины, заиндевелая ветхость сараев, пустынных садов, водосточков и крыш и моя молодая, горячая бодрость. Просто шагать было скучно, и я порою переходил на бег, радуясь пару дыхания, что вылетал изо рта, и упругости собственных мышц.

Когда я подбегал к магазину, там как раз стоял грузовик, с которого и торговали капустой. Кочаны взвешивали безменом — с хрустом накалывая кочаны прямо на его крюк.

— А откуда капустка? — спрашивала востроносая старушонка, недоверчиво мнущая и даже нохающая кочаны.

— Из Шопино! — отвечала ей краснолицая продавщица, сама тугая и круглая, словно капустный кочан. — Да что ты их, бабка, перебираешь? Не видишь — капуста у нас первый сорт!

Кочаны, в самом деле, были отборные. Тугие и белые, они не просто поскрипывали, а пели, особенно, когда я положил их в рюкзак, и они на ходу тёрлись один о другой. Можно было подумать, что я несу в рюкзаке повизгивающего поросёнка. Прохожие даже оглядывались, и кто-нибудь, самый догадливый, спрашивал:

— Где, парень, капустку-то брал? На Хрустальной? Надо и мне поспешить, пока не разобрали...

Дома ждёт новая радость: засолка капусты. До чего же приятно смотреть, как большой нож, дробно стуча, обстругивает кочан и как вспухает рассыпчатый ворох нарезанной, сочной капусты. Всегда удивляешься: как же эта гора, завалившая стол, помещается всего-навсего в одном кочане? Скоро от кочана остаётся одна кочерыжка, которую мать обязательно предлагает тебе:

— Андриша, ты где? Кочерыжку-то будешь?

— А как же!

До сих пор у нас с матушкой продолжается давняя эта игра — кормление меня кочерыжкой, и я, пожилой и седой человек, до сих пор с детской радостью принимаюсь хрустеть её сочным и сладким бруском. Ведь главное в кочерыжке даже не вкус, а вот именно бодрый и радостный хруст, от которого всё вокруг молодеет. Молодеет и утварь на кухне, и вид за окном, молодеют даже твои отец с матерью, которым сейчас нипочём не дать их действительных лет.

А ёмкостью для засолки капусты много лет нам служил пузатый керамический бочонок. И, помнится, было очень приятно набивать его сочною смесью капусты, моркови и соли, трамбуя её кулаком — под которым хрустел и пружинил наш зимний запас. Сверху капуста накрывалась перевёрнутой тарелкой, на которую укладывался округлый гранитный валунчик. И бочонок тогда напоминал старинную пушку, заряженную вместо пороха нашинкованною капустой, а валунчик был вместо ядра. Что ж, бочонок капусты и был тем оружием, что нам помогало отбиться от натиска долгой, морозной зимы и дожить до весны.

**КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУПЧИК.** Жестока ли жизнь? Да она порой просто ужасна. Нет нужды перечислять все её беды и горести, тем более, что всех и не перечислишь, потому что тогда ничего, кроме горьких стенаний, не ляжет на эти страницы. Причём бед и несчастий бывает полна даже самая обыкновенная жизнь, без тюрьмы и сумы, без войны, та, которую мы назы-

ваем благополучною жизнью. Сколько тяжких трудов, угрызений совести, сменений, тревог и печалей выпадает нам с вами; иногда думаешь: покажи кто-нибудь нам в начале жизненного пути, как тяжела будет эта самая жизнь, ещё неизвестно, согласились бы мы терпеть её тяготы?

Но к чему я всё это веду? А к тому, что, при всей беспощадной жестокости жизни, при её жестяном равнодушии к судьбам любого из нас, в ней в то же самое время скрыт и запас доброты. И она окружает нас повсюду, надо только увидеть её и почувствовать, надо понять, что и живы-то мы до сих пор лишь по милосердию жизни.

Давайте представим: вот вы возвращаетесь в дом после трудного дня. День был именно тот, жестяной, о котором я только что говорил, он сполна дал тебе ощутить и жестокость, и равнодушие жизни. Душа словно выжжена: пепел и пыль покрывают её...

И, конечно, тебе сейчас не до еды. Но ты машинально, по многолетней привычке, достаёшь из холодильника кастрюлю позавчерашнего супа, ставишь её на плиту и, пока она разогревается, продолжаешь терзать себя мыслями о тщете жизни. Ты так погрузился в тоску этих мыслей, что не заметил, как суп закипел и залил плиту. Чертыхнувшись, переливаешь остатки похлёбки в миску, и теперь ждешь, пока супчик остынет. Проходит минута, другая, и ты неожиданно ловишь себя на том, что уже не терзаешься мыслями о никчёмности жизни, а с интересом ворочаешь ложкой в дымящейся миске. Всплывают и тонут кружки моркови и кольца лука, ломти картошки, блестят капли жира, и коловращение это прямо-таки завораживает тебя.

А картофельный запах, что мреет над миской и заставляет тебя машинально, бездумно, но вдруг улыбнуться? Ведь он, этот запах, не просто душист и приятен; он именно что утешителен, он действует, как бормотанье какой-нибудь доброй старушки, которая, не подбирая особенных слов, монотонно и тихо бубнит, утешая тебя: ничего, мол, милоч, глядишь, как-нибудь оно всё и обойдётся...

К тому времени, как ты зачерпнёшь супчик ложкой и поднесёшь к губам его душистую гущу, ты уже будешь почти исцелён. А уж когда этой мягкой картофельной кашей наполнится рот, а затем и желудок, ты станешь другим человеком. Куда подеваются злость и тоска, раздражение и недоверие к жизни? Те острые жизненные углы, которые так тебя задевали недавно, враз как-то сгладятся. Неужели всего лишь тарелка картофельного супа смогла примирить тебя с миром, а заодно и с самим собою?

**КИЛЬКА В ТОМАТЕ.** Чьё сердце не забьётся сильнее при словах “Килька в томате”, особенно, если это сердце мужчины, и оно бьётся достаточно долго, чтобы помнить ещё те, давнишнего советского образца, кильки в томате, которые стоили двадцать четыре копейки за банку?

В пору всеобщего дефицита витрины продовольственных магазинов порой украшали одни эти консервы: пирамиды из серебристо мерцающих шайб, обёрнутых в чёрно-красную этикетку. И вообще, это был предмет символический, означавший закуску как таковую. Что изображалось, к примеру, на страницах сатирического журнала “Крокодил”, когда нужно было заклеить позором тех несознательных граждан, которые засоряют природу? Конечно, порожняя банка из-под кильки в томате, оскверняющая какую-нибудь идиллическую лужайку.

А если требовалось изобразить типичного пьяницу — ну, такого, у кого нос обязательно сизый, — то чем он закусывал? Правильно, килькой в томате: эта закуска считалась столь же обязательным спутником пьяницы, как и гранёный стакан.

Но ведь символом может быть нечто лишь совершенное; консервы “Килька в томате” и были таким совершенством. Уже сам размер и вес круглой банки, и то, как она укладывалась в ладонь или соскальзывала в карман телогрейки, — уже одно это пробуждало в душе неизъяснимо отрадное чувство.

А как было приятно её открывать! Когда клык консервного или даже простого ножа пробивал жесть, выступала аппетитная капля томатного соуса, которую непременно хотелось слизнуть. Когда же, с нажимом, взрезалась

и отгибалась жёсть крышки, глазам открывались продолговатые рыжие тушки, лежавшие хвост к голове. Конечно, тогда, в те далёкие годы, когда юный голод тебя торопил, ты не очень-то долго раздумывал, прежде чем подцепить пару килек (ножом, если не было вилки) и отправить их в рот. Но теперь, когда огонь желаний угас и жажда жизни утолена, можно спокойно порассуждать о консервах как таковых.

Ведь только подумать: вот эти рыбёшки, если бы их предоставить природе, они бы давно уже сгинули где-то в пучине морской или пошли на корм чайкам или каким-нибудь кашалотам; они бы исчезли, как будто их никогда не бывало. А в жестяной этой капсуле они оказались изъятые из времени, сохранены: разве это не чудо?

К тому же, консервы нередко бывают вкуснее, чем натуральный продукт. Вот и свежепойманная килька, если пожарить её, на мой вкус, проигрывает себе же самой, но в томате. То есть некая вещь, превращаясь в консервы, не только избегает тления, но ещё и становится лучше.

Но не в этом ли — то есть в сохранении и в улучшении реальности — и состоит задача искусства? Взять что угодно: пейзаж ли художника или роман писателя — жизнь, что показана там, будет, во-первых, защищена от тлетворного действия времени, а во-вторых, она, скорее всего, будет лучше, чем тот образец, с которого списана книга или картина.

Выходит, искусство и занимается, по преимуществу, консервацией. Начиная с этого места, можно спеть целую оду консерватизму как направлению мыслей и образу жизни; но это завело бы нас очень уж далеко от кулинарного словаря.

Да, “Килька в томате”, о которой я вспоминаю, была настоящим произведением искусства. И вот тут есть один тонкий момент. Почему-то прекрасным становится только то, что уже отдалилось от нас, ушло в прошлое, а то, из чего состоит день сегодняшней, кажется мелким, неважным и недостойным внимания. Предложи мне сейчас ту самую кильку в томате, о которой я здесь вспоминаю с такой ностальгической нежностью, и я, скорее всего, откажусь от такого подарка. Не сама же мне килька нужна — нет, мне нужна моя память о ней; мне нужен тот образ, тот идеал, что живёт в моём сердце, мне нужен, иными словами, я сам, как-то странно, таинственно и необъяснимо сроднившийся с этим почти что случайным предметом — с банкой “Кильки в томате”.

Или и вправду, о чём бы ни рассуждал человек, хоть о звёздных туманностях или всемирном потопе, но если проникнуть в глубинную суть, в сердцевину его слов и мыслей, то окажется, что говорит-то он, в сущности, лишь о себе самом? А если так, то не есть ли вот этот, как я называю его, “Кулинарный словарь”, по сути, попытка автопортрета? Из блюд и напитков, из тех обстоятельств, в которых я с ними встречался, я пытаюсь сложить ту картину, в которой надеюсь увидеть себя самого...

**КНЕДЛИКИ.** Кнедлики — это забавное слово, похожее на имя какой-нибудь птахи, впервые я вычитал в книге о Швейке. И я долго воображал, что кнедлик — это нечто немислимо вкусное. Ну, ещё бы: ведь на страницах романа Гашека герои говорят о кнедликах часто и неизменно с любовью, доходящей до обожания. Кажется, кнедлик — символ всего, чем так дорожит человек: символ уюта, покоя и мирной, наполненной тихой радостью жизни. В сущности, весь знаменитый роман и написан за кнедлики — против войны.

Но реальность, как ей и положено, не оставила камня на камне от моих юных грёз о прекрасных, как девушки, кнедликах. Настоящие пражские кнедлики, с которыми мне довелось познакомиться, оказались комками серого теста, лежащими в липкой мучнистой подливе. Даже на вид они были противны, но вкус оказался ещё хуже внешности: что-то вязкое, пресное, да ещё и назойливо липнущее к зубам. Не раз вспоминал я пушкинские слова (сказанные им, правда, о калмыцком чае): “Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-либо гаже”. В общем, моё впечатление от встречи с кнедликами было примерно таким: я ждал встречи с прекрасною

юною девушкой, умной, изящной, весёлой, а мне вместо неё привели дебелую сонную бабу с полукрытым ртом и оловянно выпученными глазами.

Но не спешите ставить на кнедниках крест. Жизнь гораздо сложнее и милосерднее к нам, чем это кажется с первого взгляда. Пожив в Праге несколько дней, до одури находившись по её средневековым улочкам и старинным мостам и, разумеется, выпив за эти дни столько пльзеньского, сколько в России не выпиваю за год, я стал чувствовать: чего-то мне недостаёт. И я долго не мог понять, чего именно, пока в очередной пивнице, куда я зашёл за очередной парой кружек, не увидел, как за соседним столиком молодой парень жадно ест кнедлики. И я вдруг почувствовал, что тоже хочу съесть полдюжины вот таких вязких, непропечённых комков, которые словно замаят внутри меня некую брешь — ту, в которую тянет сквозняк беспокойства и неизбывной тревоги. Да, именно кнедников мне не хватало, не хватало покоя, который приходит, когда неторопливо пьёшь пиво, глотая одну за другой эти сытные пломбы из вязкого теста.

Пиво и кнедлики неотделимы от Праги, а Прага непредставима без них. Именно кнедлики вместе с пивным хмелем создают ощущение сказочно-бесконечного сна, в котором бредёшь, уже не надеясь, да и не желая проснуться. Кнедлики — своего рода мост в пражскую сказку: то, без чего очень сложно почувствовать неторопливо-дремотную пражскую жизнь.

И, любя Прагу, — а её нельзя не любить! — нельзя не полюбить и её полномочного представителя: кнедлика. Он — как бы это сказать? — позволяет почувствовать счастье обыденности. Ведь счастье лежит на избитых дорогах: эта мысль Шатобриана очень, кстати, нравилась Пушкину. И не в том ли глубокий урок чешских кнедников, что они словно нам говорят: слушай, да брось ты все эти дурацкие поиски, это стремление вдаль, эти мечты и надежды, в которых проходит и гаснет твоя беспокойная жизнь; счастье — оно всегда рядом. Протяни только руку — и вот перед тобою тарелка мучнистых комков, которые хоть и не блещут красотой или вкусом, но зато безотказно насытят тебя, успокоят-утешат и никогда не обманут. И ещё — говорят они нам — с той красоткою, о которой ты, парень, вздыхаешь, ох, нахлебаешься горя; зато, может быть, будешь счастлив с дебелой доброю бабой, которая телом и сутью похожа на мягкий, податливый кнедлик...

Чехи, я думаю, стали счастливою нацией с тех самых пор, как признали, что лучше кнедлик в руках, чем журавль в небе. А вот мы, русские, так и будем несчастны, пока будем мечтать, тосковать и вздыхать по прекрасным, всегда улетающим вдаль журавлям...

**КОНЬЯК.** Так уж случилось, что из всех видов спиртного коньяк мне знаком лучше всего: за тридцать лет хирургической практики уж чего-чего, а коньяков я перепробовал множество.

И вот я до сих пор изумляюсь: как возникло, а затем закрепилось это чудовищное заблуждение, что коньяк, дескать, закусывают лимоном? Конечно, люди доверчивы, и убедить их можно в чём угодно, даже в том, что чёрное — это белое, и что Земля покоится на слонах или на носороге. Но лимон к коньяку — это уж, знаете, слишком!

И вот я хочу сказать — нет, даже крикнуть — люди, опомнитесь! Вот садитесь вы в кресло с коньячным бокалом в руке — желательно, чтобы коньяк был хорошим — и, глядя, как за окном тихо падает снег (идёт дождь — тоже неплохо), дожидаетесь, когда коньяк потеплеет от вашей ладони. Это важно: холодный коньяк ещё хуже, чем тёплая водка. По окну оплывают потёки дождя или талого снега, а по стенкам бокала — коньячные “ножки”, маслянисто-густые потёки напитка, который мало-помалу перенимает ваше тепло и распускается, словно цветок, облаком крепкого аромата.

Удивительно, как всё связано, как всё рифмуется в мире: скажем, оплывы дождя на стекле и потёки на стенках бокала или золотистый цвет коньяка с золотом липовой кроны напротив окна. А следом приходит и мысль, что хороший коньяк — это сгусток солнца, который донёс вот до этой минуты холодного, хмурого дня частицу полдневного зноя и света, что лился в каком-то далёком году и в далёкой стране лозы винограда. И вот только теперь,

найдя точку гармонии между коньячным бокалом, желтеющей липой в окне, воспоминанием о лете и тем, как наплывы дождя омывают стекло, — вот только теперь можно пригубить коньяк. Душистый огонь растечётся во рту и согреет гортань, а потом мягко опустится к сердцу. И ещё не уляжется тёплая эта волна, как голова уже чуть зашумит, как бывает, когда ты выходишь из тени на яркое летнее солнце и тебя накрывает облако зноя.

Теперь время улыбки. Вообще качество коньяка определить очень просто. Если, сделав глоток коньяка, ты не сморщишься, а улыбнёшься, значит, это хороший коньяк. Улыбка выразит многое: и, главным образом, благодарность напитку, который согрел твоё тело и душу и позволил — в который уж раз! — ощутить, до чего же, при всех своих тяготах, жизнь хороша...

Но если вы, не дай Бог, в эту минуту улыбки подхватите с блюда и бросите в рот кислый ломтик лимона — гармонии как не бывало. Ваши губы скривятся брезгливой гримасой, вас всего передёрнет, и двери рая, которые только что приоткрылись для вас, снова захлопнутся.

Вот поэтому я и прошу: когда пьёте коньяк, даже не прикасайтесь к лимону! Коньяк, если уж его надо закусывать (а хороший коньяк закусывать вовсе необязательно), признаёт только две настоящих закуски: ломтик дыни или спелый персик. И дыня, и персик — они не прогонят улыбку с ваших уст, пригубивших коньяк, но продлят её и укрепят; ведь дыня и персик — такие же сгустки полдневного солнца, как и душистый коньяк, маслянисто стекающий по тюльпану бокала...

**КОРА КОДИНЫ.** Кодина — река в Архангельской области, по которой мы шли с другом Лёшей; а кора — это то, что мы ели в походе.

Река, по которой недавно вели молевой лесосплав, рыбой была небогата, и за целый день мы поймали лишь несколько окуньков. Хочешь не хочешь, надо было добывать пропитание не в реке, а в лесу. Кора — точнее, заболонь — это первое, что приходило на ум, и раздобыть её было проще всего.

Ободрали мы, помнится, липку. Было жаль губить дерево, но не более жаль, чем прикалывать ножом рыбу, ещё трепещущую в руке. Жизнь жестока: в ней все друг друга едят, и даже смерть не выводит нас из всеобщего круговорота еды. Вот мы съедим сейчас липку, а нами когда-нибудь станут питаться новые липки, которые будут корнями тянуть наши соки. “Так что своей долг липкам со временем мы отдадим”, — утешал я себя, шинкуя ножом на седёлке байдарки сырые, упругие ленты липовой заболони.

Думалось и о том, что кора — еда нищеты, почти голода. Если дело дошло до коры — человек на краю, у черты, за которой голодная смерть. Хотя, казалось бы: почему не питаться корой постоянно? Чем она так уж хуже какой-нибудь репы или редьки? Да, пожёстче; да, варить её нужно подольше, чем свёклу или картошку; но по составу это те же самые углеводы, из которых состоят и любые растения. Так что, пока есть кора, и желудок способен с ней справиться (а способен ли — это мы скоро узнаем), помирать с голодухи вроде как рановато.

Вода в котелке забурлила, и Лёша — он у нас главный, да и единственный, повар в походах — высыпал в неё миску мелко нарезанной липовой заболони, посолил и, для наваара, бросил туда же шесть окунёвых голов.

— Вышак! — объявил он торжественно. — Через час будет готово.

Час тянулся томительно. На реке главный способ занять чем-то время — это взять спиннинг да побросать блесну. Я вышел к торчащим из воды сваям разрушенного моста — река меж них гнулась буграми — и долго пытался провести “вертушку” по самой стремнине, по мускулисто напрягшимся струям. Но блесна была слишком легка, и река выбрасывала её на поверхность. Пару раз показалось, что была хватка, но я не был уверен, что блесна просто-напросто не ударялась о сваи моста или донные камни. Кончилось тем, что блесна намертво зацепилась за сваю на самой стремнине, там, куда лезть за ней было опасно: не хватало ещё напоротья на старые гвозди. Да и вода была ледяная: стоял, как-никак, конец сентября. Пришлось, натянув лесу до звона, обрывать её и возвращаться к костру без блесны и без рыбы.

Зато кора уже сварилась, и я с интересом стал её пробовать. Вкус её неожиданно оказался очень даже неплох. Представьте себе очень жёсткую курицу, вываренную почти до безвкусыя, но с отголоском горчинки и сладости, да ещё с лёгким запахом рыбы от окунёвых голов. В общем, было не просто съедобно, но даже и вкусно. Только вот челюсти уставали жевать волокнистую жёсткую массу; хорошо, что мы её нашинковали достаточно мелко, и можно было просто глотать один кусок за другим.

— Думаешь, усвоится? — спросил я товарища.

— Поживём — увидим, — резонно ответил он мне. — Ну, что? Ещё по тарелочке?

Мы съели весь котелок. Чувство сытости так меня оглушило, что я едва сумел встать и побрёл искать место для сна. Сон вообще составляет важнейшую часть обеда, особенно русского. Говорят, и Лжедмитрий был уличён в самозванстве, потому что он не спал днём, после обеда, что для русского было почти кошунством. А уж в походе, устав после гребли да набив себе пузо варёной корой, вздремнуть было необходимо.

Лёг в мелком осиннике, чья огненная листва трепетала вверху, как ручей, непрерывно шумящий на перекате. Сон накрыл сразу; я даже не стал, как обычно, кряхтеть и ворочаться, поудобней укладываясь между корней, и вот уже, уносимый полуденной дремой, я видел нос лодки, с которым сближались шумящие, пенные буруны переката. Но во сне отчего-то я был уверен, что мы пройдем перекат, даже не стукнувшись килем о камни. Может, причиной такого спокойствия был именно полный желудок? Набитый варёной корою, я был словно закован в броню; что, в самом деле, могло одолеть человека, который питается липовой заболонью, а потом спит на земле, ещё и получая от этого удовольствие?

**КОРНЕВИЩЕ РОГОЗА.** Долгое время я не любил сырые места: болота, пойменные дуга и речные урёмы, охвостья прудов — те низины, где между кочек почмокивала вода, гундосили комары и где ноге не было твёрдой опоры. И в этой своей неприязни я был не одинок: по народным поверьям, именно вот в таких непролазных и топких местах обитает различная нечисть.

Но после многих походов, причём без запаса еды — что нашёл, то и съел, — я стал даже к болотам относиться совсем по-иному. Можно сказать, я стал ожидать встречи с ними, радуясь, когда впереди намечалась низина — обычно её означали сухие деревья, — когда земля под ногами сырела, пружинила, и приходилось уже не брести напролом, а перескакивать с кочки на кочку. Причина же радости, с какой мы встречали болотца, была очень проста: в сырых местах много рогоза — растения, которое не единожды выручало нас в “голодных” походах. Если не ошибаюсь, по содержанию крахмала в корневищах рогоз превосходит картофель; нам даже кисель доводилось варить из него.

Конечно, рассуждать-то о ценности рогоза просто, а вот как раздобыть метр-другой корневища? Ведь это же надо в конце непростого походного дня лезть в болото! Одно представление о комарах и холодной болотной трясине уже вызывает озноб! Но делать нечего: голод не тётка. Разувшись и сняв штаны, со вздохом ступаешь в болотную ржавую жижу. Податливый торф проседает, урчит под ногами, и вода начинает кипеть от болотного газа. В эту минуту всегда вспоминается “Макбет”: “Земля, как и вода, рождает пузыри — и это были пузыри земли...”

Да, вот они, эти самые пузыри поднимаются вокруг твоих вязнущих ног целым облаком и обдуют резким запахом серы. Так и кажется, следом за ними появится кто-то ещё — сердце сжимается то ли от холода, то ли от страха — и, сам удивляясь себе, торопливо и как-то совсем по-старушечьи осеняешь себя крестным знаменем.

Цель же твоя — вон она, впереди, где стеной стоят высоченные стебли рогоза. Каждый стебель украшен коричневым толстым цилиндром, напоминающим шомпол эпохи наполеоновских войн. Кое-где эти цилиндры растрёпаны, и их рыжий пух покрывает болотные кочки и окна застойной воды.



Подобраться к рогозу непросто: приходится выдерживать целую схватку с трясинной. Уже пожалел, что, раздеваясь, не снял и трусы: придётся теперь их сушить. Но вот, наконец, ухватился за крепкий, прогонистый стебель рогоза и потянул его на себя. Из ржавой воды с чмоканьем вылезло узловатое корневище. Оно всё в бутрах и наростах, в свисающих слизистых нитях, в болотных червях и личинках стрекоз. Да, экземпляр мне попался отменный: он толщиной почти в руку, и погонного метра вполне бы хватило на суп. Но его сложно чистить: поди-ка, отмой-отскобли эту липкую грязь, да срежь все наросты и корки. Мы поступаем проще: берём только почки, что спрятались в пазухах корневища. По виду они напоминают чесночные гладкие дольки; двух-трёх горстей таких почек вполне хватит на ужин для двоих.

Я минут уже десять копаюсь в болоте: вытаскиваю, одно за другим, корневища, рассматриваю их и отламываю сочно хрустящие почки, удивляясь их гладкости, белизне, чистоте, пока не наполняю ими карман “брзентухи”. “Пожалуй, хватит”, — думаю я и вдруг удивляюсь тому, что мне вовсе не хочется вылезать из болота, в которое так не хотелось недавно входить. Я привык-притерпелся и к хлопанию этой вот жижи, которая больше не кажется мне ледяной, и к податливой вязкости торфа, и даже к сернистому запаху донного газа, который щекочет мне ноги. Я вошёл в этот мир, почти принял его, как и он почти принял меня, и даже болотные птицы перестали меня опасаться. Вот воробей — и откуда он взялся в болоте? — присел на согнувшийся стебель рогоза и начал азартно трепать его рыжий цилиндр — так, что пух полетел над трясинной. Вот пёстрый дятел припал к сухой ели, торчащей из топи, и выдал весёлую дробь. А ворон, огромный и угольно-чёрный, пролетел надо мною так низко, что я ощутил колыхание воздуха от его тугих взмахов.

Выходит, всё дело в том, как мы сами относимся к миру, и он отвечает на наше к нему отношение, становясь и добрее, и ласковей к нам. Вражда порождает вражду, а добро и доверие порождают добро — вот какое открытие вместе с рогозом я выношу из болота. Что ж, ради этого стоило лезть в ледяную жижу. Редко когда я бывал таким грязным, как в ту минуту, когда вылезал из болота, и редко когда бывал так просветлён и спокоен. Даже тех комаров, что накиннулись, алчно звеня, на мои голые ноги, даже комаров я не хлопал, как раньше, а только сгонял, улыбаясь при этом какой-то блаженной улыбкой...

**КОТЕЛОК.** Как вам такая картина: вечерний туман, низкий берег реки и костёр, над которым висит котелок? Для меня это зрелище сызмала невыразимо отрадно. Оно означает, — если попробовать всё же выразить это невыразимое чувство, — что всё идёт правильно, в мире царят и покой, и порядок: раз день завершается тем, что костёр тихо-мирно потрескивает на речном берегу, огонь лижет дно котелка, а в самом котелке варится каша. Чувства и мысли, похожие на “жизнь удалась”, или “всё слава Богу”, возникают тогда даже не в голове, а, скорей, где-то в сердце.

Потому можно сказать, что вечерний костёр и висящий над ним котелок для меня есть не просто устройство для приготовления пищи, а нечто сакральное — то, без чего мой мир был бы неполон. В конце концов, каждый из нас строит свой личный космос, и в моём мироздании котелок над костром почти так же необходим, как восход Солнца или речь на родном языке. Наша жизнь обязательно чем-то должна быть согрета, чем-то очень простым, человеческим, близким, и когда я мешаю какой-нибудь струганой палкой бурлящую кашу или снимаю пену с ухи, мне тогда кажется, что не так уж я и одинок в этом мире, под этими звёздами, что так чисто и холодно светятся над головой...

В предмете значительном — таком, как котелок, — мелочей быть не может. Например, как мы с вами подвесим его над огнём? Привычки, традиции, флора и почва тех мест, где ты оказался с походным своим котелком, — всё влияет на способ подвески. Лучше всего то, что попроще: две рогулины, вбитые в землю, и перекладина между ними, продетая в дужку котла.

Впрочем, на “северах” костровая подвеска ещё проще: там рогулину ставят только одну. Перекладина над ней торчит наискось: на её верхнем конце, над огнём, висит котелок, а нижний привален увесистым камнем. Но такая конструкция, на мой взгляд, слишком уж напряжённо-тревожна, и это её напряжение неизбежно передаётся душе. Где нет симметрии и равновесия — нет и покоя; а покой-то как раз в предвечерние эти часы у костра нам дороже всего.

В горах Крыма, где рогульки не вбить, приходилось устанавливать котелок на камнях. Получалось подобие очага, и сухой можжевельник пылал под котлом на горячем полынном ветру.

А на песчаных отмелях рек случалось устанавливать котелок на три сырых кольшка, вбитых прямо в кострище: вода в котелке закипает быстрее, чем эти кольшки перегорают. Есть ещё тросы, которые можно подвесить между деревьями; есть складные треноги; есть решётки-жаровни, на которые ставится котелок. Но это всё приспособления, скорее, для пикников, чем для серьёзных походов: не тащить же с собой в рюкзаке треногу или жаровню?

Как разнообразны способы подвески котелка над костром, так же разнообразны вес, форма, размер и самих котелков. Помните, много лет котелком нам служила помятая и закопченная дюралевая кастрюля, к ручкам которой была подвязана дужка из проволоки. Нынче в моде котелки-каны: ёмкости продолговатой бобовидной формы, которые можно вставлять друг в друга, словно матрёшек. Нет слов — удобно. Но всё же привычнее котелок-полусфера: тот самый, классический, который и вызывает в душе все те мысли и чувства, о каких я писал выше. Именно такой котелок гармонически соотносится со всем, что его окружает: и округлой зелёной палаткой, стоящей поодаль, и жёлтою половинкой луны, что восходит над лесом, и с той полусферой звёздного неба, что покрывает нас летнею ночью.

А сколько загадок таит в себе котелок — вещь, казалось бы, примитивно простая! Как объяснить, например, вот такое туристическое поверье (подтверждавшееся в моём личном опыте множество раз): если, не отрываясь, смотреть на воду, налитую в котелок, то она очень долго не закипает? Вода словно стесняется нашего взгляда; словно та сокровенная встреча огня и воды, что совершается в недрах котла, не должна быть доступна случайному или равнодушному зрителю.

Но даже зная об этом мистическом свойстве, отвести глаза от воды, начинающей закипать в котелке, почти так же трудно, как, скажем, от раздвинутой на берегу юной купальщицы. Вот от стенок котла начинается едва видимое струенье, вот по днищу во множестве высыпают жемчужные пузырьки, которые наливаются, зреют, растут и вдруг, трепеща, отрываются и взмывают к поверхности. От воды поднимается пар, который мешается с дымом костра, а тот, расстилаясь по-над росистой травой, смешивается с туманом, слоями ложащимся над луговиной. И всё же это ещё не кипенье; должно пройти время, чтобы уже не отдельные пузырьки, а целые их ручейки заструились от днища и побежали к поверхности, чтоб ожившей воде стало тесно внутри напряжённо подрагивающего котелка. И вот когда она вдруг замутится, взбуртится, а потом начнёт даже кидаться за борт котелка, с шипением заливая костёр, — вот только тогда время сыпать крупу.

Кружка гречки, опрокинутая в бурлящий котёл, мгновенно останавливает кипенье и ложится по дну рябым, ровным слоем. Но чуть погода этот слой начинает подрагивать: так родниковые струи приподнимают донный песок, заставляя его танцевать.

И вот уже затанцевала вся гречка. Рябые крупинки взлетают всё выше и выше, потом они разбухают — и скоро котелок с гречкой напоминает не столько родник, сколько жерло небольшого вулкана. Лава гречневой каши непрерывно извергается из его недр, вспучивается и выворачивает саму же себя наизнанку. Когда каша поспела, — а это легко понять даже на слух, ибо она уже не клокочет, а всхлипывает, — самое время открывать тушёнку. Знаете ещё одно туристическое поверье: “Чем веселее свинья на банке — тем хуже тушёнка”? Но сегодня нам, кажется, повезло: мордочка нашей свиньи на редкость уныла.

Впрочем, тушёнку, я думаю, вы добавите в кашу и без меня. Я же пока посижу у реки, погляжу на вечернюю воду, да запишу в блокнот мысли о котелке и о гречневой каше.

**КРУЖКА ВОДЫ.** Когда кружка воды означает спасение? Я говорю не о тех ситуациях, когда человек умирает от жажды в пустыне, но о самой обыденной жизни.

Вот представьте: вы просыпаетесь мутным и тягостным послепраздничным утром и, томимые жаждой, шарите в сумерках кухни, наливая неверной рукой вожделенную кружку воды. Ведь самое тяжкое в состоянии похмелья — именно та безотрадная сухость, в которую ты погружён, словно в жаркий песок. Кажется, что из тебя ушла жизнь; что не одно только тело, но даже душа (если б её можно было увидеть) потрескалась и почернела, как земля в засуху. И чудится, что из её пыльных трещин вот-вот начнут выбираться разные там пауки, сколопендры да аспиды...

Но ещё хуже, чем сухость, глубинное чувство вины. Может, ты накануне ничего и не сделал особо плохого, но сейчас виноват уже тем, что ты существуешь и не можешь никак в этот тяжкий утренний час оправдать своё бессмысленное существование. Твоя нынешняя вина — вина перед всем, так сказать, бытием...

Словом, если мы и способны почувствовать ещё на земле и при жизни дыхание ада, то похмельная жажда и неотступное чувство вины уже нам дают представление о тех безнадежных пространствах, где сохнет, мертвеет и гибнет душа. Ад — он всегда рядом, и не надо, как писал Гоголь, ходить за чёртом тому, у кого он за плечами.

Но жизнь милосердна к своим непутёвым питомцам: хоть близок ад, но ещё ближе спасение. И нынешним утром оно воплощается в этой кружке воды, за которую ты ухватился, как утопающий за спасательный круг. Припадая сухими губами к её запотевшему краю, ты жадно пьёшь саму жизнь. И с каждым глотком, что прохладной волной оmyвает твоё пересохшее горло, ты утоляешь не только похмельную жажду, но ещё и вымаливаешь прощение. Чувство вины, что так жгло твою душу, понемногу стихает...

А всего-то, казалось бы, — кружка воды! Но Бог — в мелочах; порою достаточно кружки воды, чтобы почувствовать благодатную силу прощения. Значит, мелочь — уже не такая и мелочь; неслучайно же именно кружка воды так нередко приходит на ум, когда вспоминают о смерти. “Кто подаст ему кружку воды?” — вопрошают, имея в виду тяжкий труд умирания. Стало быть, и на последнем земном переходе — из жизни в смерть — кружка воды может нам помочь. Предсмертная кружка становится той последнею милостью, которую нам дарит жизнь; и надо молиться не только о том, чтобы был рядом тот, кто её поднесёт, но и чтобы нам, уходящим, хватило бы сил принять этот дар с благодарностью.

**КУЛЁК.** Вот пришли времена: уже надо объяснять молодёжи, что такое кулёк! А полвека назад редко какой покупатель выходил из продуктового магазина без кулёка в руке либо в сетке-авоське (тоже, кстати, слово-реликт).

Кулёк — то есть конус из серой (иногда синей), шершавой, очень приятной на ощупь бумаги — был тогда универсальной упаковкой. В кулёках несли всё: сахар и яйца, конфеты и пряники, муку и крупу, макароны и семечки. Даже селёдку бросали в кулёк — и сквозь бумагу проступало масляное пятно. Или, скажем, подсолнечная халва — она тоже пропитывала бумагу, и кулёк становился пахучим и сладким, почти съедобным.

Всегда нравилось наблюдать, как продавщица где-нибудь в сумраке сельского магазина виртуозно сворачивает кулёк. Она берёт лист бумаги из стопки, встряхивает его с лёгким хлопком, затем стремительно оборачивает вокруг собственной полной руки, ловко заламывает вершинку, — и вот перед ней ровный конус, в который скоро с шуршаньем начнут сыпаться сахар или крупа. В магазине прохладно и пусто, с потолка висят клейкие ленты, на которых брызжат невезучие мухи, а по углам стоит и висит всякая всячина, которую так интересно рассматривать. Тазы и решёта, серпы и лопаты,

примусы и керогазы, лампы “летучая мышь”, дымари, сапоги и калоши, чугунки и ухваты, печные заслонки, мышеловки и конопляные веники — всё, что могло пригодиться в сельском быту и чем здесь торговали вместе с продуктами.

Удивительно, до чего проста была тогда жизнь: всё её материальное, так сказать, обеспечение помещалось в единственной на всю деревню лавке под названием “сельпо”. И эта жизнь — во что сейчас даже трудно поверить — была практически безотходной. Ни мусора, ни, тем более, мусорных свалок тогда просто-напросто не существовало. Все съестные остатки доставались курам или поросётам; всё, что могло гореть, оказывалось в печи; верёвочкам, крышечкам или коробочкам обязательно находилось место в хозяйстве. Взять, к примеру, какую-нибудь круглую жестяную коробку из-под селёдки — разве можно было её выбросить? Нет, отмытая от сельдяного рассола, она или служила хозяину хранилищем для гвоздей, — а гвоздь, даже гнутый и ржавый, был тогда большой ценностью, — или становилась кормовой миской для дворового Тузика.

Это я всё к тому, что нынешние времена, по сравнению с аркадской идиллией моего детства, буквально выбросили нас на свалку: упаковочного мусора вокруг столько, что мы рискуем быть заживо похоронены в его горах. Наша цивилизация превратилась в прямом смысле в цивилизацию упаковок. Полюбуйтесь какой-нибудь компанией горожан, выехавших на пикник. Да, посидят они у костерка или мангала, подурчатся, выпьют-закусят, пожарят свои шашлыки, но упаковок, бутылок, пакетов оставят после себя целую гору! И ведь это всё вечный мусор: пластик, которым отдыхающие окисвернили природу, переживёт их самих, их детей, внуков и правнуков.

А кроме того, цивилизация упаковок — это мир видимостей и обманов. Никакая вещь, спрятанная в ярко-призывную оболочку, не может быть так хороша, так вкусна и полезна, как об этом кричат картинка и надписи на упаковке. Скорее, всё наоборот: чем ярче форма, тем скуднее (порой, и опаснее!) содержимое.

Поневоле со вздохом и нежностью вспомнишь о старом добром кульке из обёрточной серой бумаги. Он был скромен, да честен: лишнего не сулил, а уж если что нёс в себе, так добротное и настоящее. И финал кулька всегда был достойным. Какое-то время он хранил те продукты, что были завернуты в нём; потом бумага кулька могла стать обёрткой, к примеру, куриных яиц, уложенных в старой плетёной корзине. Но, в конце концов, любой из бумажных кульков становился печною растопкой. Бумага комкалась; этот комок подсовывался под щепки, лежащие в топке печи, и скоро бумага смуглела от зыбкого пламени спички. Кулёк служил людям последнюю службу: он становился огнём, а потом улетал в виде сажи и жара в печную трубу...

**КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ.** Какой только нынче не встретишь литературы по кулинарии! Стоит зайти в книжный магазин — глаза разбегаются от обилия ярких обложек и сотен названий, призывающих нас к наслаждениям чревоугодия. Никакой Лев Толстой не издаётся так нарядно и привлекательно, как какой-нибудь сборник “Рецепты тёти Моти” или “Тайны кулинарии аборигенов острова Окинава”.

Но глянец и золото этих изданий во мне лично аппетита не пробуждают. То ли я чувствую во всём этом некий подвох — уж больно всё пёстро и броско! — то ли вкусы мои, что сложились ещё в прошлом веке, расходятся со вкусами нынешних дней, и взгляд почти равнодушно соскальзывает с лакированных ярких обложек.

Зато до чего интересно держать в руках старую, а ещё лучше — старинную кулинарную книгу, ту, которая передавалась от бабушек к внукам и на страницах которой остались следы поколений. Полистайте какой-нибудь пожелтевший, затрёпанный том “Домоводства” или “Книги о вкусной и здоровой пище” — той самой, которая пятьдесят лет назад играла роль катехизиса, книги ответов на основные жизненные вопросы. Вы сразу почувствуете, как много жизни хранит эта старая книга, в том числе и потому, что традиции быта, как правило, переживают крушения царств и империй, триумфы

и гибель вождей, ужасы войн и судороги революций. Кухонный очаг долговечней дворца, и насущные интересы желудка всегда будут людям ближе политических лозунгов или партийных пристрастий. Как известно, “любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда”. Что можно добавить к печальной и мудрой улыбке этого народного изречения?

Давайте же полистаем старую кулинарную книгу. Закладками в ней служат то ломкий засохший цветок, то листок отрывного календаря, несущий память о дне, что давно канул в Лету, то нитка или лоскуток пёстрой ткани, а чаще всего — страничка с рукописным рецептом, услышанным от подруги или соседки, и дополняющим том кулинарного руководства. Эти листочки бывают обычно помяты, захватаны пальцами и забрызганы жиром; но зато можно сказать, что старинные кулинарные книги непрерывно дорисовываются теми, кто ими пользуется.

По этим вкладышам можно порой догадаться, какому празднику предназначалось жаркое или пирог, чьи следы отпечатались на листке разинной школьной тетради. Вот, скажем, рецепт гуся с яблоками: это, конечно же, Новый год или Рождество, это ёлка, гирлянды и свечи, оранжевые мандарины и неизменный салат “оливье”, это ожидание счастья, которое в нас сохраняется на всю жизнь.

А вот рецепт пасхального кулича: сразу же представляешь апрельское ясное утро, счастливых старушек, бредущих от всенощной, пасхальные возгласы и поцелуи, и горку малиновых, синих, зелёных и пёстрых яиц на столе.

Рецепт окрошки — это, скорей всего, Троица: день, когда храмы пахнут берёзой, а поселковая наша околица — свежескошенным сеном.

А сладкие пироги — это дни рожденья детей. Духовка раскрыта, она пышет жаром, а масляный противень глухо гремит, когда по нему расстилают корж теста и заливают его ярко-алым вишнёвым вареньем. И та девочка, что зачарованно смотрит на эту картину, девочка, которая спустя много лет сама станет бабушкой и будет печь внукам праздничные пироги, не будет ли и она воскрешать в памяти этот вишнёвый пирог как самое сладкое воспоминание жизни?

**ЛЕДЕНЕЦ.** Можно, конечно, сварить леденец самому, как мы это и делали в детстве. Берёшь ложку сахара, держишь её над огнём, и сахар тает, желтеет, и вязкий сироп начинает кипеть. Янтарные пузыри разбухают и лопаются — и тогда убираешь с огня закопченную ложку, чтоб твой леденец мог остыть.

Его сладкий, с оттенком горелого, вкус памятен до сих пор, и памятно то удивление, с каким я наблюдал переход вещества из одного состояния в другое. Только что в ложке был сахар, сыпучий и белый, и вот в ней пузырится вязкая карамель, а вот уже, стукнув ложкой о стол, я выбиваю из неё гладкий и твёрдый, как камень, кусок леденца.

Но ещё большее удивление и восхищение вызывал “петушок на палочке” — популярное лакомство прежних лет. Эти леденцы продавались обычно с лотков, во время каких-нибудь празднеств или гуляний. Помнишь, спрашиваю я самого же себя, как лежали они, слипшись боками, на вощёной бумаге торговца и с каким целующимся звуком отлеплялись один от другого? Цвет леденца был обычно янтарным, хотя попадались и красные, и зелёные петушки. А размер его был таким, что, засунутый в рот целиком, леденец выпирал изнутри детских щёк и раздвигал губы в оцепенелой улыбке, посередине которой торчала липкая палочка-черенок.

Чем больше ты облизывал леденец, заглаживая языком его острые рёбра, тем он становился прозрачней — уже до того, что сквозь петушка можно было увидеть и солнце, и ствол ближнего дерева, и даже шагающих мимо людей. Иногда начинало казаться: всё то, что видишь, находится не за леденцом, а внутри него, в его собственном полупрозрачном теле, которое словно содержит в себе целый сказочный мир. Этот мир завораживал, всё в нём светилось янтарным, таинственным светом. Ребёнком ты ещё не понимал слова “преображение”, но сквозь леденец, истаявший до толщины бутылочного

стекла, ты видел мир уже как бы преобразённым, таким же, каков он есть, только лучше.

А иногда, отвлечённый чем-либо, ты совал недоеденного петушка в карман и надолго о нём забывал. Помнишь, как потом было странно и грустно доставать леденец из кармана штанов или куртки? Он был потускневший и жалкий, облепленный сором, ничтожный. И куда подевалось былое его волшебство? Пытаясь хоть что-то исправить, стараясь вернуть тот таинственный мир, что тебе померещился давеча внутри леденца, ты начинал отлеплять от него шелуху семечек, нитки и хлебные крошки, комочки свалывшейся шерсти — тот сор, которого леденец нахватался в кармане. Но усилия были напрасны: петушок оставался безжизнен и тускл.

И вот только когда ты слизывал с угловато-шершавого, сладкого тельца соринки, ворсинки и крошки, тогда леденец оживал. Он опять становился прозрачен и гладок, и в нём ненадолго опять возникал тот таинственный свет, в котором волшебным образом менялся весь мир. Поднося леденец к глазам, ты опять видел сказку, тот мир, что как будто похож на обычный, но только прекрасней его. Одно было плохо: леденец быстро таял, а с ним исчезало оконце в тот сказочный мир ...

**ЛЕПЁШКИ.** Речь пойдёт даже не о лепёшках из пресного теста, а, скорей, о давнишней мечте. Была у меня в детстве любимая книжка: “Мумитроль и комета”. И был в ней рисунок, сделанный самой Туве Янссон, автором книги: Снусмумрик, один из героев, сидит у костра меж корней старого дерева и печёт на сковородке лепёшки. Уж не знаю, чем так покорила меня этот рисунок — быть может, каким-то уютом печали, что наполнял и его, и всю книгу? — но всё моё детство, а потом и всю молодость во мне сохранялась мечта: когда-нибудь тоже вот так, как Снусмумрик, расположиться у старых древесных корней, развести костерок и вот так же неспешно испечь полдюжины лепёшек. Смутно мерещилось, что ничего лучшего в жизни не может и быть и что вполне счастлив я стану только тогда, когда на мерцающих углях костра зашкворчит сковородка, а на ней, становясь всё румянее, будут подпрыгивать ноздреватые кляксы из теста...

Ждал я этой минуты лет, наверное, двадцать. И вот наконец всё совпало: и вечер, и берег реки, и костёр, чьи блики мерцают на тёмной воде. Пошевелишь дрова — искры взлетают и гаснут в ветвях старой ивы, по чьим оголённым корням так удобно спускаться к реке за водой. Я спустился и зачерпнул из реки котелком — отраженьё костра задрожало, расплылось и снова собралось, — а потом, сев на корточки возле огня, начал смешивать в миске воду с мукой. На Снусмумрика, правда, я пока не был похож: слишком уж суетливо я растирал комки теста, и во мне ещё не было медленной грусти — той, без которой никак не испечь настоящих походных лепёшек.

Лишь когда тесто было готово, и на крышке от котелка (заменившей мне сковородку) шкворчал кусок сала, и ночь пододвинулась ближе, потому что костёр уже не плясал языками огня, а лежал грудой жарких, мерцающих углей, — лишь тогда ощутил я толчок затаённой печали, которая мне говорила: “Едва ты исполнишь мечту, как расстанешься с ней”. Что же, подумал я, пришло время расстаться и с давней мечтой о лепёшках — пришло время их печь...

Я даже тесто стряхивал с ложки на сковородку каким-то прощальным, как бы обрывающим что-то движением. Но не подумайте, что мне было плохо — нет, вовсе нет! — просто я так устроен, что грусть-печаль часто приходит как раз в те минуты, когда всё хорошо и когда, кажется, нечего больше желать. Я словно знал: всё, что будет потом, будет хуже вот этого вечера на реке, этой груды углей со шкворчащей на них сковородкой и этого чувства покоя, который приходит так редко и так ненадолго.

Края лепёшек уже подрумянились — пора было их переворачивать. Я загодя выстругал плоскую щепку (вспомнив, что именно щепкой пользовались герои любимой книги) и теперь, поддевая лепёшки, одну за другой перебрашивал их наизнанку. Шкворчание теста вмиг сделалось громче, хлебный дух поплыл над костром — и какая-то птица (или, быть может, летучая мышь?)

так бесшумно и низко скользнула над головой, словно ей тоже хотелось лепёшек.

Не терпелось и мне. Подцепляя лепёшку ножом, обжигаясь и дуя, кусая хрустящий обугленный край, я начал есть — спору нет, было вкусно! — но всё же в азарте еды, в торопливом жевании — в этом всё оставалось уже очень мало от той мечты о лепёшках, с которою я отправлялся в поход. Можно сказать, я свою мечту съел; и мне становилось так грустно и так одиноко, как будто я в самом деле не знал: как жить дальше? Костёр догорал, от реки поднимался туман, становилось сыро и зябко; и ночь, что была у меня впереди, представлялась огромной и неодолимой...

**ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА.** В годы нашего студенчества килограмм ливерной колбасы стоил шестьдесят копеек — деньги пустяшные! — и это было хорошим обедом для трёх-четырёх человек. Ещё брали буханку чёрного хлеба (“Орловский”, 16 копеек); не исключалась и пара бутылок портвейна. Самый дешёвый, на этикетке которого красовались три цифры “семь” — мы его называли “три топора” — стоил рубль с небольшим; самый же дорогой, “Молдавский” — по-нашему, “мужик в шляпе” — тянул, если не ошибаюсь, аж на три семьдесят.

Сейчас я и сам удивляюсь, почему так отрадны воспоминания о той простецкой еде и даже о мизерных ценах тогдашней поры? Или вообще всё, что связано с молодостью, с годами становится всё драгоценнее? Или и впрямь та эпоха была исключительной и неповторимой, и всё, что напоминает о ней — даже мелочи быта — имеет особую ценность?

Итак, ливерная колбаса. Выйдя из магазина с её тяжелым и гладким пахучим кольцом, так приятно свисавшим с ладони, мы решали: а где же сядем перекусить? Смоленск замечателен тем, что почти в центре города есть заповедное место: старинная крепостная стена. Вот к подножию этой стены мы обычно и направлялись. В те годы она была полуразрушена, словно поляки только что осаждали её, а героический Шеин возглавлял оборону Смоленска, и пустынные склоны холмов за стеной выглядели примерно так же, как и в шестнадцатом веке. Вот как раз там, у подножия башни Орёл, мы и начинали наш студенческий пир.

Голод и молодость — лучшие из поваров. Потом, уже в зрелости, приходилось мне пробовать кушанья и поизысканней; но никакое из них не сравнялось с краюхою ноздреватого серого хлеба и куском ливерной колбасы. Помните, как колбасная оболочка туго лопалась на изгибе, и упительный ливерный запах окутывал нас, словно облако?

А портвейн? Как забыть о портвейне, об этой тяжёлой бутылке, которая на тогдашнем жаргоне называлась “огнетушитель”? Упругий пластиковый колпачок на нём сидел так плотно, что снять его было непросто... Уж чем только мы ни пытались сдёрнуть его — зубами, ногтями, ключами — пока, наконец, не поддевали и не срывали крышку какою-то ржавой железкой (быть может, осколком военной поры?), что валялась в пыли под стеной.

И почему-то сама прочность и плотность пластмассовой крышки бутылки нас радовала. Казалось, уж если предмет заурядный — какая-то крышка — настолько надёжен и несокрушим, то как же прочна должна быть та жизнь, что нас окружает? Мерещилось, что нас всех, всю нашу эпоху, со всем её движимым и недвижимым содержимым защищает от сквозняков перемены кака-я-то тоже незримая крышка, какой-то колпак, что надет на всех нас; и пока эта крышка не сдёрнута, портвейн будет крепок и сладок, а колбаса будет очень дешёвой и вкусной, и мы все будем жить, словно в раю, где время остановилось.

Но всё оказалось иначе. Не успели мы там, под старинной стеной, попить вволю портвейна и вдоволь наесться ливерной колбасы, как страна и эпоха, любимые нами, исчезли. Не успев повстречаться, мы, сами того не зная, уже провожали эпоху, а заодно уж прощались и сами с собой, молодыми.

Но ещё поразительней то, что всё сохранилось: и молодость, и руины старинной стены, и бутылка портвейна с тугою пластмассовой крышкой, и стая стрижей, свиристевших над нами, и тот тугой хруст, с каким мы

ломали кольцо ливерной колбасы. Когда я вспоминаю об этом, потом кое-какие из воспоминаний записываю, потом перечитываю то, что сумел записать, бывшее встаёт предо мною не просто таким же, как было когда-то, а ещё даже более ярким и достоверно-живым.

И вот это, конечно же, чудо: то, что память и слово способны не просто бороться со временем, а могут ещё воскрешать бывшее в каком-то лучшем, преображённом виде. Ведь даже та ливерная колбаса, которую я уплетал, запивая портвейном, в какой-то далёкий, почти незапамятный день — тогда она мне не казалась настолько вкусна и желанна, как кажется в эту минуту, когда я словно чувствую пальцами её гладкую кожу, вдыхаю её прятный запах и когда всё прочнее во мне убеждение, что ничто из бывшего не исчезает бесследно...

**ЛОЖКА.** Что, казалось бы, проще, обыденней ложки? Каждый день мы берём её в руки, зачерпываем ею суп или кашу, или позвякиваем в чайном стакане, почти не обращая на неё, ложку, внимания. Но если вдуматься, этот предмет не так прост. Уже одно то, что ложке посвящены десятки пословиц и поговорок, заставляет взглянуть на неё с интересом. Тут и “дорога ложка к обеду”, и “одно ложкою щи хлебаем”, и “ложкой кормит, а стеблем глаз колет”, и пресловутая “ложка дёгтя в бочке мёда” — читатель, если желает, сам может продолжить этот ряд поговорок и присказок.

А ведь ложкою, кстати сказать, богаты далеко не все цивилизации или народы. Кто-то за трапезой обходится вовсе без приспособлений — первобытным народам они неизвестны, — а кто-то, имея возможность есть ложкой, сознательно отказывается от неё. Известно же, что главная пища Азии, плов, гораздо вкуснее, если брать его прямо пальцами. Иногда вместо ложки используется ломоть хлеба: так, я множество раз наблюдал, как индусы черпают остреее чечевичное хлёбово куском лепёшки-чапати. А японские или китайские палочки, из которых у европейских туристов вываливается еда, на которыми аборигены пользуются так виртуозно?

Так что давайте подробнее поговорим о старинной, испытанной нашей подружке — о ложке. А начнём мы, пожалуй, с того, что самая первая ложка — это наша ладонь. Кому не случалось, страдая от зноя, напиться холодной воды из горсти, а потом отереть ледяною ладонью пылающий лоб? По образу нашей ладони и создана ложка; можно сказать, это самый первый протез — то есть искусственный орган, — который придумало человечество.

Первая же настоящая ложка, с которой мы с вами встречаемся ещё во младенчестве, — та, что дарится нам “на зубок”. Она обычно серебряная, очень нарядная, и на черенке её красуется забавный какой-нибудь зайчик или медвежонок. И молодые родители просто млеют от счастья, когда эта ложка вдруг стукнет о первые зубки младенца...

Но я своей младенческой ложки не помню. Зато хорошо помню ложку немецкую, оставшуюся с войны: она была склёпана с вилкой и складывалась вдвойне — так, что было удобно сунуть её хоть в карман, хоть в сапог. Эта ложка стала настоящей реликвией нашей семьи: отступая во время сраженья под Курском, немецкий солдат обронил её в хате деревни Камыш, где жил тогда мой трёхлетний отец, и потом я, родившийся через двадцать лет после войны, часто вертел в руках этот военный трофей. Уже по одной этой ложке можно было понять, до чего же могучею силой был вермахт — и чего нам, русским, стоило его сокрушить. Уж если простая солдатская ложка была сделана так основательно — её заклёпка не разболталась за столько лет! — то что же тогда говорить об автоматах и пулемётах, о самолётах и танках? Чтобы победить армию, вооружённую, в том числе, и такими вот ложками, в семье Паноковых (это семья моей бабушки по отцу) из пяти братьев, ушедших на фронт, пали четверо — вот цена этой ложки, брошенной в хате деревни Камыш отступавшим немецким солдатом.

Большинство из тех ложек, что мне приходилось потом держать в пальцах, — детских, мальчишеских, подростковых — в памяти не задержались. Но вот что меня удивило и что я запомнил — так это дюралевые гнутые ложки родного советского “Общепита”. Они, небрежно сполоснутые тёткой-по-



судомойкой, лежали обычно в гремящих железных лотках, и большинство из них было странным образом покорёжено. Черенок был то завит винтом, то согнут в дугу, то вовсе отломан, словно эти казённые ложки нарочно терзала и портила неведомая сила. А потом, полюбив “Общепит” и проведя немало часов в его сумрачных недрах, я не раз наблюдал, как подвыпившие мужики увечат эти самые ложки, как их крутят и гнут в грубых пальцах, как черенки чуть ли не завязывают в узел, и какая при этом тоска наполняет хмельные, угрюмые взоры. Словно жизнь была мужикам так тяжела, так давила и мучила их, что это мучение неосознанно передавалось их пальцам, терзающим ложку, отчего она, бедная, и превращалась в уродливо скрученный жгут.

Но вот какую ложку свернуть в узел было нельзя, так это исконно крестьянскую, деревянную; её можно было только сломать или сжечь. Оставшись, быть может, последним из символов избяной деревенской Руси — той, есенинско-кловеской, канувшей в Лету, — деревянная ложка доносит до нас отголоски традиционного строя веками отлаженной жизни. Тем более что деревянная ложка давно уж не столько прибор для еды, сколько ещё и музыкальный инструмент или объект декоративного искусства. Костяной перестук этих ложек, рассыпанный под “Камаринского” или под “Барыню”, напоминает лихой перестук кастаньет, их испанских сестёр.

А когда деревянные ложки расписаны мастерами из Палеха или Мстёры, то глаз не оторвать от их лаковой пестроты, от яркости черни и золота, охры и киновари. Такую ложку и в суп-то бывает жаль опускать — её только держать, как цветок, за стебель, да любоваться её красочным буйством.

Но когда всё же ешь деревянную ложкой, то возникает чувство, что ты поедаетшь именно ложку; а сама еда — это всего лишь придаток к ней. Ты и облизываешь ложку, и прикусываешь её, и стараешься так её обсосать, словно это не ложка, а мозговая сладкая кость. Недаром деревянные ложки, бывшие в частом употреблении, становятся стёрты, обгрызены и именно “съедены”, как о них говорят.

Излишне писать, что любая еда, если зачёрпывать её деревянной ложкой, обретает вкус изначальный и правильный. Разве можно сравнить горшок гречневой каши или тарелку наваристых щей, рядом с которыми мы положили любимую деревянную ложку, с теми же блюдами, но оснащёнными ложкой стальной? Есть простую, исконную пищу металлической ложкой — почти то же самое, что выйти на пахоту или покос в бальных лаковых туфлях: смешно, неуместно, неловко.

Вообще, раз уж мы заговорили о деревянных ложках, можно добавить, что расписная липовая ложка — своего рода портрет той нации, что её сотворила. Она и проста, даже, можно сказать, простодушно-наивна, она небогата и недолговечна (а русские и до сих пор живут меньше других), но, в то же самое время, душевна, тепла и нарядна, и очень талантлива. Деревянная ложка — это и танец, и песня, которую мы порой держим в руках, часто даже не замечая того, каким праздником нас одарила судьба.

**ЛОЗА ЧЕРНОГОРИИ.** Черногория очень красива. Но, как всегда, чем прекрасней что-либо, тем труднее поведать об этом словами. Это как с девушкой: чем она больше нравится, тем глупее твой вид и нескладнее речи.

Вот как отразить на бумаге не просто серпантин горной дороги — наш как бы взлёт по каньону, над бирюзовою лентой реки, что мелькает внизу, среди бурых скал, но ещё и ту смесь восторга и страха, которая охватывала, когда колесо автобуса на поворотах чуть ли не повисало над бездной, где на дне пропасти ржавели останки рухнувших туда автомобилей? А водитель, к тому же, гнал так, словно он торопился скорее попасть не то в рай, не то в ад — уж не знаю, куда ему было назначено.

Наконец, мы остановились у горного монастыря и с облегчением ступили на твёрдую землю. Я, как обычно, отбился от группы и пошёл побродить по задворкам: мимо пасеки, где возился монах с дымарём, мимо скудного монастырского огорода и виноградника, обошёл вокруг храма, который по форме и цвету почти не отличался от окружающих скал, и вышел к церковной

лавке, где торговали богослужебною утварью. Здесь были свечи, кресты и иконки, цепочки и чётки, бутылочки масла, молитвенники и лампадки цветного стекла. И вдруг среди этих мерцающих позолотой предметов я увидел приличных размеров бутылку, на которой было написано “лоза”. Встретить бутылку виноградного самогона вот именно здесь, где всё было чинно и благопристойно, где воздух пропитан был воском и ладаном, вовсе не показалось мне странным. Я вспомнил, что латинское “spiritus” означает как “спирт”, так и “дух”. Да и само получение спирта — возгонку — изобрели как раз в монастырях, ещё в раннем Средневековье, так что здешняя лоза занимала своё законное место.

Старая женщина, что торговала в той лавке, заметила, как я внимательно рассматриваю бутылку, и, улыбнувшись, спросила:

— Русия?

— Русия, — кивнул я в ответ.

И не дожидаясь, что я у неё попрошу, старушка налила мне полную рюмку пахучего и ледяного — аж запотело стекло! — самогона.

— На здравие! — сказал я, подняв рюмку, залпом выпил и вытер слезу: уж очень крепка оказалась та монастырская лоза.

Я бы, конечно, ещё постоял рядом с доброй старушкой, поговорил бы о чём-нибудь с ней — рюмка лозы магическим образом увеличила мой запас сербских слов, но, увы, пора было ехать.

Автобус, натужно гудя, опять потащил нас выше и выше по серпантину, колёса на поворотах снова едва не зависали над пропастью, но теперь, после выпитой лозы, почти не было страшно. Не то чтобы действовал хмель — он почти и не ощущался, — но в душе укреплялось глубокое чувство покоя. Как будто возгонка — процесс, при котором из виноградных отжимок получается самогон, — могла совершиться с любым из предметов и даже с любым состоянием души. Недавно тебе было страшно смотреть на ту пропасть, по краю которой, гудя, поднимался автобус; но теперь только чувство полёта вызывали те горные виды, что открывались глазам. Склоны гор становились всё более голы, по каменным осыпям медленно лился туман — или мы уже въехали в слой облаков? — и орлы, что кружили под нами, казались теперь не крупнее ворон. Туман становился всё гуще — водителю даже пришлось включить фары — и уже начинало мерещиться, что подъём бесконечен: если вдруг кончится горная эта дорога, то наш автобус сумеет, натужно гудя, подниматься даже по облакам...

**ЛУКОВИЦА.** Согласитесь, приятно держать в руке золотисто-сухую и шелестящую луковичу. И, коль уж мы её взяли, что с нею делать?

Можно очистить её, нарезать на крупные сочные доли и, сморгнув слезу, поставить на кухонный стол. Можно, не очищая, положить её рядом с солонкой, буханкою хлеба и старым ножом с костяным черенком и писать натюр-морт. А ещё можно, опустив луковичу в банку с водой, дожидаться, пока она пустит зелёные перья посередине морозной и снежной зимы.

Проросшая луковича на подоконнике, перед заиндевевшим стеклом мне памятна с детства. Простая, казалось бы, вещь — что может быть проще луковичи? — становилась тогда чем-то праздничным и необыкновенным. Нарушался сам ход времён — середь зимы наступала весна! — и любой, кто бросал взгляд на проросшую луковичу, всегда улыбался.

Зелёные перья тянулись всё выше, а с донца луковичи всё гуще свисала борода из белёсых корней. Вода в банке мутнела; а сама луковича день ото дня становилась всё более дряблой, пустой: её сила и жизнь уходила в зелёные стрелы. Наступал тот момент, когда мама срывала два-три пера, шинковала их на доске и бросала в кастрюлю с картофельным супом.

— О-о, летом пахнет! — отец, прикрывая глаза, вдыхал острый луковый запах, и ты, подражая ему, начинал тоже старательно нюхать тарелку.

Действительно, пахло травую, полуденным зноем — пахло истомой далёкого летнего дня, которая сохранялась вот в этой луковиче, и даже зима не могла одолеть этих запахов лета и жизни.

С луковицей связано и ещё одно, уже школьное, воспоминание. Классе в пятом или шестом, когда мы начинали курс биологии, один из уроков был посвящён изучению клеток кожицы лука. Нам раздали предметные стёкла — они были прямоугольными, шероховатыми на торцах — и стёкла покровные, лёгкие, как лепестки. Потом по рядам пустили сахарно-белую луковицу. Каждому надо было пинцетом снять с неё полупрозрачную плёнку и разложить её на предметном стекле. Затем препарат нужно было прокрасить. Пипетка роняла с дрожащего кончика каплю рыжего йода, и она растекалась по луковой плёнке янтарным пятном. Теперь, накрыв кожицу лука невесомым покровным стеклом, можно было класть её под объектив микроскопа.

Тут я с трудом удерживаюсь, чтобы не пуститься в пространное описание самого микроскопа. Как сейчас, вижу его гнутый штатив, напоминающий чью-то усердно согбенную спину, его ствол, что нацелен туда, где обычное зренье бессильно, его круглый столик с блестящей пластиной-зажимом, с винтами подачи, и вижу тот солнечный блик от рефлектора, который было так интересно ловить. Сначала наводишь подвижное круглое зеркальце на окно, ловишь им свет и направляешь его в потаённый, загадочный мир микроскопа. И в момент, когда солнечный зайчик попадал на отверстие столика, поле зрения вдруг озарялось, и в его светло-матовом круге ты угадывал некие контуры. Теперь, осторожно и не дыша, надо было чуть подработать винтами — объектив отступал на какие-то полмиллиметра, — и вдруг открывалась картина, которую я не могу позабыть до сих пор.

Ряды ровных клеток лежали в мерцающем, тающем блеске: цитоплазма, казалось, дышала, пузыри вакуолей напоминали жемчужины, а зрочки карих клеточных ядер будто смотрели навстречу тебе, вопрошая: “Ну, как ты, приятель?”

И вот ныне, почти полвека спустя, я думаю: каково было жить тому мальчику, что находил друзей в клетках кожицы лука? Видимо, очень непросто: в большом одиночестве должен жить человек, для которого даже кожица лука — подруга. Но зато такой человек никогда и нигде не останется совершенно один: уж чего-чего, а луковицы жизнь для него не пожалует...

**МАЛИНА.** “Не жизнь, а малина”, — говорим мы порой. Большой похвалы этой ягоде трудно и высказать; на этом вполне можно ставить точку.

Но жаль расставаться с малиной так скоро. Она-то нас не оставляет даже зимой, когда ты, иззябнув, уже начиная покашливать и шмыгать носом, ставишь на стол блюдо малинового варенья и принимаешься за целебное чаепитие. И удивительно, сколько жара содержит в себе это варенье: стоит проглотить пару сладких крупитчатых ложек, как в тебе словно костёр загорается, лоб и виски покрываются потом, и простуду буквально выпаривает из груди.

То, как много в малине сухого, добротного жара, ты знаешь и по весенним кострам. Как только в саду сходит снег, наступает пора выламывать старые малиновые побеги. Сухие высокие прутья ломаются с лёгким, стреляющим треском, почти что с таким, с каким они скоро займутся в костре. На глазах растёт грудка хвороста — пара лимонниц танцует над ней, — и это порхание бабочек над сухою малиной окончательно убеждает тебя: да, наступила весна.

Ну, что — поджигаем? Неуверенный огонёк спички сначала исчез внутри вороха прутьев, повалил густой белый дым, но вдруг как-то разом малиновый хворост оказался охвачен гудящим и бледным огнём! От костра польхнуло таким жаром, что, хотя ты и отшатнулся от пламени, от его гула и треска, но брови тебе всё равно опалило.

Вот это костёр! Сухая малина не просто сгорает, а тает в огне; пламенный вихрь подхватывает и уносит вверх листья, мусор, золу и даже лёгкие ветки, которые вспыхивают и догорают уже на лету. Вилами ты подцепил на меже и бросил в огонь какую-то драную тряпку — то ли кофту, то ли рубаху? — и вот она вспыхнула тоже, и весенний костёр в этот миг стал почти ритуальным, он стал тем языческим пламенем, на котором сгорает Зима-Кострома.

Ну, что же? Зима сожжена, теперь ждём в гости лето. А летом одно из любимых занятий — наведаться в сад по малину. Если утро росистое — листья малины темны, тяжелы; и рука, что ты сунул в куст, мгновенно становится мокрой по локоть. На ладонь липнет мелкий листовенный сор, паутина, какие-то мошки-козявки; но ты тянешь пальцы к тем налитым, почти чёрным от спелости ягодам, что падают, стоит только коснуться их мягковорсистого бока.

Вынимаешь ладонь из куста, когда в ней краснеет десяток малиновых ягод и, первым делом, вдохнёшь из горсти запахи спелого лета. Наверное, именно эту минуту и представляют себе, когда говорят: “Эх, не жизнь, а малина!” Когда же одними губами подбираешь с ладони душистую мякоть, отчего-то всегда представляешь себе, что ты сейчас лошадь, которую кормит заботливо-щедрая чья-то рука. Что ж, поэт сказал верно: “все мы немножечко лошади”, и все мы нуждаемся в ласке, которой нам так не хватает.

МЁД. Конечно, мёд, да с краюхою свежего хлеба, — кушанье истинно райское. Даже в Библии говорится о нём. В Евангелии от Луки, где повествуется о явлении Христа ученикам уже после Воскресения, мы читаем: “Они подали ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И, взяв, ел пред ними” (Лк, 42-43).

Но это касается воспоминаний всего человечества; для каждого же из нас есть свои собственные “медовые” воспоминания. Так, мне с раннего детства памятна пасека — мир клубящихся пчёл, дымарей, ульев, рамок, медогонок и сот — мир, прикасаясь к которому, я всё уверенней чувствую: рай существует.

И в этом раю, который, конечно же, есть уже потому, что мы с вами способны помыслить, представить его, не может не быть старых яблонь и ульев, стоящих под ними, запахов мёда, воска и дыма и слитного, словно органная фуга, гудения пчёл...

Пчеловодом был мой прадед, Денис Максимович Попов. Он прожил долго, девяносто три года, и поэтому я хорошо его помню. От старика исходил запах пасеки: запах холодного дыма, вошчины и рамок — тех самых, что ко-со висели в сарае, на старинном кованом гвозде, вбитом в стену. Прадед был худощав, медлителен и молчалив: таким и должен быть глубокий старик, тем более, пасечник. И я его, помню, любил, хотя откуда мне, пятилетнему, было знать, что такое любовь? Я всегда волновался, увидев Дениса Максимовича, и меня всегда тянуло к нему: хотелось встать рядом с ним, прижимаясь щекой к прохладному рукаву его пиджака (старик ходил в пиджаке даже в самое пекло), и подышать тем особенным запахом дыма и мёда, который, как я теперь понимаю, был будто дыханием вечности.

Прадед в неё, вечность, скоро и убыл; я же остался жить пока без него, в мире временном и несовершенном. Но пасека, о которой я нет-нет, да и вспоминаю. Те самые синие ульи, вольготно стоящие в тени старых яблонь, создают для меня как бы мост между жизнью и райской вечностью. Это воспоминание, так неразрывно слившееся с мечтой, что я уже толком и не понимаю, в прошлое или в будущее устремляется внутренний взор, когда мысли о пасеке вновь посещают меня?

Часто думаю: неужели жизнь не подарит мне, пускай в самом конце, летний полдень, наполненный слитным гудением пчёл? Попыхтев дымарём, я медленно подойду к возбуждённому улью, гудящему, словно орган, и сниму с него крышку. Пчелиный клубящийся город со всем своим множеством сот, со всей суетою строительства и размноженья откроется мне, поразив, и уже не впервые, таким сходством с людской, в суете и трудах протекающей жизнью. Я выну тяжёлую рамку, смахну с неё серых, легко отлетающих пчёл, увижу, что соты полны, и мысли о собственной смерти, которые в эту минуту меня посетят, не будут иметь ни особенной важности, ни интереса. “Ну, помру так помру, — как-то очень обыденно, просто подумаю я. — Не я, как говорится, первый. Слава Богу, пожил, поработал, помаялся: что ещё нужно? Жизнь идёт, пчёлы гудят, взятки нынче хорошие — в такое-то славное лето не жаль и уйти...”

МИДИИ ЛИСКИ. Что же мы, не едали изысканных блюд? Ещё как едали! Вот, скажем, мидии.

В Лисьей бухте Восточного Крыма — Лиске, как любовно её называют nudисты, что с давних времён приезжают сюда, — впервые я оказался с молодой женой в знойный день августа. Склоны хребта Эчки-Даг плыли в мареве, море сонно вздыхало, а обнажённые люди, что загорали вокруг, казались почти миражами. Откровенная нагота для нас, детей пуританской советской эпохи, была ещё непривычна, и мне в самом деле казалось, что вон те две красотки почти шоколадного цвета существуют только в моей голове, отуманенной зноем.

Но не будешь же долго и тупо глазеть на голых красоток, забыв про жену и про море? И вот я ныряю, любуясь подводными скалами, серебристыми искрами рыб в толще бледно-зелёной воды и шустрыми крабами, что шныряют по дну. “Интересно, а что это там за ракушки на скалах, — думал я, фыркая и отдуваясь, и снова ныряя. — Наверное, мидии: что-то такое я слышал о них...” Через полчаса я наломал пару дюжин крупных мидий — и гордо показал сетку с добычей супруге.

— Что это? — удивилась Елена.

— Это мидии. Деликатес. Надо будет попробовать...

Но мой голос был, видно, не слишком уверенным, и Лена смотрела на чёрных моллюсков с большим недоверием. Для надёжности я решил проконсультироваться у аборигенов Лиски, nudистов: в самом ли деле съедобно то, что я набрал в сетку-авоську? Выбрал двух обнажённых наяд и направился к ним.

— Девушки, подскажите: а вот это есть можно? — я показал свою сетку с мидиями.

Красотки лениво взглянули на сетку, с которой сочилась вода, потом осмотрели меня — о, сколько всего было в их томных, насмешливых взглядах! — и, улыбнувшись, кивнули:

— Да, можно...

Одна из них, помню, с ехидцей добавила:

— Кстати: моллюски повышают потенцию...

В общем, эти наяды чуть меня не околдовали, и я бежал от них, как Одиссей от Цирцеи.

Но как и на чём было мидий готовить? У коктебельской старухи, сдававшей нам комнату, я выпросил старую сковородку и побрёл с ней на берег того ручейка, что течёт через весь Коктебель. Бурьян, перевитый побегами ежевики, вставал непролазной стеной — едва нашлось место для костерка. Я положил сковородку на два кирпича, развёл под ней огонь, высыпал мидий на разогретый чугун — и, в ожидании пиршества, отхлебнул из бутылки, предусмотрительно взятой с собой.

Чем хорош Крым? Тем, что в любом его месте — хоть среди бурьяна, хоть на обочине пыльной дороги, хоть где угодно — можно сполна ощутить негу зноя и юга, покой созерцания и равновесие между собою и миром, то равновесие, что гораздо трудней обрести под неласковым северным небом. Вот и теперь, сев на жёсткую землю и слушая звоны цикад, я словно выпал из времени, места, себя самого и блаженно поплыл, сам не зная, куда...

Но из нирваны меня возвратил треск раскрывавшихся мидий и шкворчанье вскипевшей в их створках воды. Как я понимал, кушанье было готово. Признаюсь, с недоверием я брал в руки горячую мидийную скорлупу и рассматривал складчатый смуглый комочек, лежавший меж перламутровых створок. Вспомнился вдруг Собакевич из “Мёртвых душ”, с его фразой: “Уж я-то знаю, на что устрица похожа!” Действительно, вид у моллюска был, откровенно говоря, весьма непристойный.

А вот вкус — тот, напротив, оказался застенчиво-нежный. Что-то чуть сладковатое, отдающее солью моря и горьким дымком костерка, что-то, состоящее из полутонов и намёков и оставляющее послевкусие неисполненного желания. Нечто подобное, помнится, я ощущал, когда девушка, которую я ожидал где-нибудь под часами, на свидание так и не приходила, и на душе

у меня оставалась такая же нежная горечь, как и на языке после медленно пережёванной мидии.

Но вдруг, разминая во рту очередной сладко-горько-солёный комочек обманного мяса, я почувствовал на зубах костяной стук и сплюнул на ладонь небольшую жемчужину. И до сих пор у нас где-то хранится — надо будет спросить у жены — десяток таких вот жемчужин, добытых мной в мидиях Лиски.

**МЛАДЕНЧЕСКАЯ КАШКА.** Не каша, а именно кашка: речь о той “размазне”, которой мы кормим наших младенцев, а потом доедаем за ними сами.

Но кашка, понятное дело, не сразу становится главной пищей ребёнка. Вначале всего — материнская грудь, этот, по выражению одного из чеховских персонажей, “буфет для младенца”. Вряд ли, конечно, кто-то из нас может вспомнить, как кормили грудным молоком его самого; зато, наблюдая ребёнка, чавкающего и пускающего пузыри у материнской груди, каждый может представить, как это происходило когда-то и с ним. Мир был тогда опрокинут, нечёток, почти нереален, само его существование оставалось ещё под вопросом, но несомненной реальностью выступала тёплая, даже местами горячая материнская грудь. Вытесняя весь мир, она и сама была целым миром; нависая, как мягко-упругое облако, она подавалась от нетерпеливых движений младенца — толчков его головы, беспорядочно шарящих ручек, — но всегда возвращалась, опять вытесняя собою весь прочий, сомнительно-призрачный мир.

Младенец у материнской груди, то засыпающий, то опять начинающий искать тёплый сосок — не лучшее ли из состояний, какие когда-либо нам были дарованы? Это был, в сущности, рай, из которого, правда, нас быстро изгнали; но до сих пор, бродя по пустыне неласковой жизни, мы храним память об этом утерянном рае.

И вот именно детская кашка, которую мы доедаем за малым ребёнком, есть некий мост между нами и нашим младенчеством. Задумчиво шлёпая ложкой по жиденькой “размазне” в разрисованной детской тарелке, мы, хотя бы отчасти, но исполняем наказ “быть, как дети” — то есть, в сущности, движемся в сторону рая. Состояние детской безгрешности, тихого счастья, доверия к миру, который вдруг кажется нам и заботлив, и добр — всё это, забытое и непривычное взрослому, оживает в душе рядом с детской тарелкою каши. Она — словно оклик и зов, возвращающий нас в незапамятно-давнее детство. Недаром и позже, в те дни нашей жизни, когда мы “близимся к началу своему”, то есть во время тяжёлой болезни или в пору немощной старости, детская кашка снова становится главной, а то и единственной нашей пищей.

Чем накормим больного, который так слаб, что и ложку-то сам не сумеет держать? Ясное дело, молочною жиденькой кашкой. Как говорила мне, помнится, одна санитарка: “Ешь, милый, ешь: коли середка сыта — так и краюшки радуются...” Ведь больному важнее всего не лекарства, не разные там перевязки да клизмы; нет, важнее всего осознание того, что жизнь ещё не отторгла его, не забыла, не обделила заботой и лаской, раз она поднесла ему эту тарелку, которая вдруг напомнила дни далёкого детства...

А старик — что дадим старику? Уж верно, не устриц или омаров; нет, мы тоже нальём ему жиденькой кашки. И для него вновь воскреснут далёкие — или теперь уже близкие? — дни, когда мать или бабка кормили его. Эта пресная кашка тогда ему вовсе не нравилась; но он принимал её, и теперь принимает со смирением, как условие жизни, которая в старости так же мало понятна ему, старику, как была мало понятна тогда, ещё в самом начале. “Ешь, милый, ешь — иначе не вырастешь”, — говорила заботливо и терпеливо покойница-мать. “А зачем мне и было расти?” — думает, верно, старик (то есть тот же, по сути, ребёнок), ковыряясь дрожащею ложкой в тарелке своей — неужели той самой, за целую жизнь не доеденной? — кашки...

**МОЛОДОЙ ГОЛОД.** Годы юности прошли в общежитии медиков, в комнате на семерых. И мы всегда были голодными, независимо ни от времени суток, ни от того, сколько съели еды.

После ноябрьских праздников, когда все возвращались в общагу из дома, пространство между двойных рам окна оказывалось чуть не на треть завалено свёртками со съестными припасами. По-особому сумрачно тогда становилось в нашей комнате номер двенадцать — сумрачно, но хорошо. Сама мысль, что у нас столько сала, капусты, варенья и разных солений-квашенных, согревала нас. А согреться было необходимо, поскольку в старой общаге топили из рук вон плохо, изо ртов валил пар, а на подоконнике за ночь замерзала в стаканах вода. Вот мы и ели почти непрерывно, и на глазах убывали межкомнатные наши запасы. Даже ночью случалось проснуться, чтобы заехать ночной перекус.

Бывало, бессонно ворочаешься на скрипучей казённой кровати — ноги мёрзнут, в желудке урчит — и слышишь, как в темноте так же бессонно вздыхают, ворочаясь, шесть твоих сотоварищей.

— Эй, вы что там, не спите? — окликаешь их шёпотом.

— Как же? Успишь тут в такой холодине, — отвечают тебе.

— Да и жрать хочется! — выражает кто-нибудь общее мнение.

Все отчего-то хохочут — мы тогда много и часто смеялись — и дружно решают вставать и готовить еду. То, что сейчас второй час ночи, никого не смущает: голод и молодость не наблюдают часов.

С треском распаивается створка окна, и из щели меж обледенелых стёкол извлекается брусок сала. Картошка обычно хранилась в шкафу — там же, куда мы складывали пустые пивные бутылки. На то, чтоб порезать сало и почистить — в шесть рук — два десятка картошин, уходит не больше пяти минут.

И вот мы на кухне общаги: наша большая законченная сковорода уже потрескивает на огне. Сало шкворчит, над картофельным белым холмом поднимается пар, и рука сама собой тянется, чтоб ухватить ещё совершенно сырую картошку. Торопливо хрустить сочным ломтиком — вкусно! — но Колья Лозбенева, наш сегодняшний повар, возмущенно кричит:

— Эй, не наглей — команды не было!

От соблазна выходишь из кухни в ночной коридор. Видишь уводящий вдаль гулкий сумрак: у торцевого окна обязательно жмутся студент со студенткой, кто-то пьяный бредёт, опираясь о стену, кто-то, вынеся стул в коридор, готовится к завтрашнему зачёту, и откуда-то слышен гитарный тоскующий звон. Общага не спит никогда, она лишь притихает в ночные часы и после дневной суматохи впадает в задумчивость и отрешённость. Мерещилось, что если бродить по ночным коридорам общаги час, другой, третий, то можно встретить сам дух, сам таинственный призрак громадного этого дома, который бессонно блуждает по сумрачным лестницам и переходам.

Но пока вместо духа общаги ты ощущаешь лишь запах жареной картошки. Он растекается по коридору так соблазнительно, что опасаясь: вдруг, пробудившись среди ночи, на этот запах поднимется весь наш этаж?

А в комнате номер двенадцать, несмотря на позднее время, царит возбуждение. С круглого стола убрали учебники, смахнули сор и разложили по кругу семь ложек. Появление Лозбенева с дымящейся сковородой встречают радостными криками и водружают сковороду в центр стола. Вот все в готовности встали вокруг, а ложки блестят в руках, словно клинки.

— Ну что, все собрались? Тогда вперед! — командует повар.

То, что происходит в следующую минуту, напоминает короткую схватку, где семеро фехтовальщиков бьются то ли друг с другом, то ли с тем чувством голода, которое и подняло нас всех среди ночи. Ложки звенят друг о друга и о сковороду, рты чавкают, ноздри сопят — и всё происходит в сосредоточенном и напряжённом молчании. Кажется, не дай Бог оказаться в центре этого коловращения из ложек и рук, потому что тебя самого съедят так же стремительно, как и картошку, от которой остались одни только шкварки. Впрочем, нет: их уже отскребли, подобрали — странно, что сама сковородка осталась цела!

Отдуваясь, икая, семеро сотрапезников падают по своим койкам. Все кажутся вялыми и постаревшими, словно, победив ночной приступ голода, мы победили и молодость, которая от этого юного голода неотделима. После

таких полуночных пиршеств засыпал я обычно в тоске, мучась смутными угрызениями совести. Слово я изменил сам себе, променяв молодую тревогу и голод на вялую сытость и сонный покой. Неужели, думал я, и всю свою жизнь я вот так разменяю на сытость?

Ещё слава Богу, что голод, а вместе с ним юность к утру возвращались. Хриплое, словно простывшее, радио начинало играть государственный гимн, и я просыпался: опять молодой, полный юной тревоги и полный желания что-нибудь съесть.

**МОЛОКО.** Конечно, лучшее молоко — парное, только что от коровы; но такое не каждому доводилось попробовать.

А вот мне повезло. Студентом, работая на Смоленщине в стройотрядах, я, случалось, ходил на вечернюю дойку. Уже на закате — столбы мошкары, словно дым, колыхались над пыльной дорогой — я шёл в направлении гула компрессора, который звучал каждый вечер на ферме, на окраине Сяковки (так называлась деревня, где мы работали). Этот густой и задумчивый гул был той колыбельной, под которую в сумерках засыпала деревня. На подходе к коровнику уже было слышно мычание, звоны подоюников, крики доярок; и во всех этих звуках, таких утешительно-мирных, покоя было едва ли не больше, чем в полной, почти никогда не случавшейся здесь тишине.

Мысленно двигаясь вслед за собой, молодым, на вечернюю ферму, я даже вспомнил имя доярки, которая разрешала мне подоить корову, чтобы потом выпить собственноручно добытое молоко. Звали её Сидоренкова Зинка — не Зина, не Зинаида, а именно Зинка — и была она полной, тугой, краснощёкой весёлою бабой. Любимой её поговоркой была: “Не зевай, Фома, — на то ярмарка!”

— Что, студент, молочка захотелось? — кричала Зинка, увидев меня. — Или коровьи титьки приятнее бабьих?

И она хохотала так громко, что коровы начинали испуганно переступать по доскам настила. Механической дойке поддавались не все, поэтому многих коров приходилось доить и вручную; вот из этих, “ручных”, Зинка выбирала какую-нибудь помирнее, отирала ей вымя мокрой тряпкой и совала мне в руки подоюник.

— Садись! Только подоюник придерживай — Милка, холера, любит его опрокидывать.

Я присаживался на скамеечку рядом с шумно вздыхавшею пегой коровой, зажимал ведро меж колен и брался за тёплое, мягкое, всё в надувшихся венах коровье тяжёлое вымя. Касание вымени и, тем более, первые неуверенные попытки тянуть за коровьи сосцы вызывали во мне очень сложные, путанные ощущения. С одной стороны, мне казалось, что всё происходит во сне, — с какой это стати я, студент-медик, вдруг превратился в дояра? — но, с другой стороны, я догадывался, что вряд ли я прежде настолько же приближался к реальности, сам становясь её неотъемлемой частью. Всё остальное — учебники, кафедры, лекции, подружки-приятели — всё превращалось в мираж; а реальность стучалась до колыхания тёплого, грузного вымени, до мокрых, тугих, ускользавших сосцов и до нежного звона подоюника, в днище которого вдруг ударяли первые белые струи...

— Да не дёргай, а сцеживай! — голос Зинки доносился словно откуда-то издалека. — Вот же бестолочь! И чему вас только учат в мединституте?

Она хохотала; корова, переступая, норовила выбить копытом подоюник у меня из колен, но я усердно тянул за сосцы, и дойка мало-помалу налаживалась. Нежный звон струй о подоюник становился ритмичнее, и дно оцинкованного ведра уже закрывалось слоем белого пенистого молока. Струи уже не звенели, а мягко шипели, поочерёдно вспарывая молочную пену.

Мои пальцы, немея от непривычной работы, казались чужими; зато вымя, которое колыхалось передо мной, как живое и самостоятельное существо — вся остальная корова казалась всего лишь придатком к нему — вымя становилось всё более близким, знакомым, своим. Я уже знал, какие сосцы доятся легче, а какие труднее; и я сгонял оводов, норовивших присесть на тугое, горячее вымя, с таким раздражением, словно сгонял их с собственного



лица. Передо мною, я чувствовал, была не просто живая молочная фабрика, кормившая, можно сказать, всё человечество, но передо мною сейчас была сама жизнь, с её очевидною и невероятною тайной. Да, в этом вымени, в его вздувшихся венах и горячих сосцах, за которые я усердно тянул занемевшими пальцами, белыми от молока, в нём была жизнь, к которой я только надеялся как-то приблизиться и причаститься. Вымя пахло коровой и хлебом, навозом, травой, молоком, мокрой тряпкой и жостью подоюника, пахло кирпичом сапог Зинки, стоявшей у меня за плечом и как-то странно в эти минуты притихшей, пахло пылью и полем, закатом, вечерним туманом, который уже начинал опускаться на Сяковку; оно пахло всем, что было вокруг, и ещё чем-то неудовимым, чего в мире как будто и нет, но без чего невозможно ни этот вечер, ни гул затихающей дойки, ни Зинка, ни я, ни корова...

— Ладно, хватит, а то совсем ей соски оторвёшь, — Зинка, со странной досадою в голосе, наконец, останавливала меня. — Ишь, присосался!

А я, прекращая доить и с трудом разгибая затёкшую спину, вдруг догадывался, что доярка, похоже, ревнует меня, молодого, к корове. Зинке, самой ещё полной живых, нерастраченных сил, досадно, наверное, было видеть, как здоровенный студент увлекается, из любопытства и прихоти, дойкой коровы, и это вместо того, чтобы заняться чем-нибудь посущественней.

— Ты молоко-то пить будешь иль как?

— Буду, конечно — за тем и пришёл.

— Ну, давай нацелу...

Доярка, вздохнув, накрывала подоюник лоскутом чистой марли и начала лить в кружку густое и странно бесшумное — словно во сне — молоко. Когда я подносил эту кружку к губам, мои руки дрожали — напряжение дойки ещё не оставило их, — а в молочной податливой пене выдувалась ямка от дыхания. Но скоро я ничего этого — ни дрожки, ни ямки — не замечал, глоток за глотком я всё больше тонул в молоко, над которым шипела белейшая пена. Казалось, не молоко сейчас льётся в меня, а я тону в нём, погружаюсь в него, словно в реку иль женщину, в ночь или в недра глубокого сна...

**НОЧЬ ХОЛОДЦА.** Была в моей жизни воистину раблезианская трапеца: при свечах, глухой ночью, когда холодец мы черпали ложками из громадных тазов, а по стенам металась и корчились наши огромные тени...

Развесёлой компанией — только что кончили мединститут! — мы приехали в небольшой городок на Псковщине, на свадьбу нашего общего друга. Накануне по этим местам прошёл смерч — старожилы, возможно, помнят лето 1986 года, — и мы, пока ехали, видели из окон вагона целые полосы леса, словно прокошенные гигантской косой: деревья были обломаны ровно посередине, верхушки их беспорядочно разбросало, а запах листвы, начинающей вянуть, пробивался даже сквозь горько-мазутные запахи поезда.

В городке, куда мы приехали ночью, света не было: смерч везде оборвал провода. Жених Николай встретил нас с фонарём и повёл к себе в дом, где, несмотря на позднее время, полным ходом шли приготовления к свадьбе. Мать жениха, тётя Римма, встретила нас, как родных, но чем-то явно была озабочена.

— Что случилось, тётя Рим? — поинтересовался я.

— Ох, и не спрашивай — прямо беда! Холодца наварили три таза, а теперь его хоть выбрасывай. Электричества нет, холодильники не работают: боюсь, наш холодец до свадьбы не доживёт.

— Так давайте, мы прямо сейчас его и съедим: чего зря добру пропадать?

— И то правда, — обрадовалась хозяйка. — Выручайте, ребята!

И вот на столах стоят три таза холодца, горят свечи, а мы, оголодавшие после дороги, да ещё подогретые водкой, которой тут оказалось два ящика (напомню: то было время “сухого закона”), начинаем столовыми ложками черпать из тазов подтаявшее заливное. Это был не то жидкий студень, не то что-то вроде грузинского “хаша”, не то мясной суп, столь густой, что в нём ложка держалась стоймя, — что-то, в общем, исключительно вкусное.

А ведь в приготовлении этого блюда участвовал ни много ни мало сам смерч, что пронёсся недавно. Не повалил он столбы, не порви провода, разве выпало б нам это ночное обжорство? Свечи мерцали, громадные тени метались по стенам, гвалт хмельных голосов становился всё беспорядочней — такой удивительной трапезы ни до, и ни после мне в жизни не выпадало. И от чего-то мне кажется: тени “Ночного дозора” Рембрандта лежат на фигурах, предметах и лицах, которые вспоминаются в эту минуту. В той полунощной трапезе было что-то могучее, полное тайны и страсти, и что-то, увы, обречённое, как и сама наша жизнь. Куда подевались и где расточились те силы, что были и в нас, молодых, и в огромных тазах холодца, который мы поглощали так жадно, как будто ели последний раз в жизни?

А куда рвутся герои “Ночного дозора”, красавцы в плащах и ботфортах, в кого они челят мушкетеры и шпаги? Разве знают они, что станет с ними со всеми, когда новый день сменит тени и сумерки их ночного дозора?

**ОБЩЕПИТ.** И что же хорошего было в той придорожной столовой? Там было шумно, накурено, тесно; по стёклам сёк дождь; шоферня материлась, ругая погоду, дорогу, начальство. В ногах чавкала жижа и катались, гремя, пустые бутылки: принесённую водку, таясь от буфетчицы, разливали под столиками, там же и оставляя порожнюю стеклотару. Так уж здесь было принято, такая здесь шла игра под названием “со своими спиртными напитками запрещено”.

Конечно, мир той “стекляшки” в посёлке Стодолище, где мы пережидали дождь по пути в стройотряд, мог бы кому-то казаться ужасен и груб, неопрятен, почти первобытен. Но мне он казался воистину раем. Я хмелел там не столько от пива, сколько от самой атмосферы густой, герметической жизни, кипевшей вокруг. Я дышал уж не воздухом, а крепчайшим настоем из дыма и пота, шофёрского мата, перегара, бензина, сапожной кирзы, из звона стаканов и звяканья ложек, из грубого смеха над чьей-нибудь грубою шуткой, из крика-призыва: “Танюша, ещё гуляша!” — да из гула машин, проносившихся по шоссе мимо мутных, забрызганных стёкол дорожной столовки. И я испытывал там глубочайшее чувство покоя. Да что говорить, если даже шум ссоры, которая вдруг разгоралась в углу и вполне могла кончиться пьяною дракой, — если даже шум ссоры не только не разрушал это чувство покоя, но как бы ещё укреплял ощущение слитности общей жизни, которая окружала тебя, словно дымное, тёплое, густо гудящее облако...

И чем более шумным, угарным и грубым был мир придорожной столовой, тем более я ощущал его нежность, его доброту и свою с этим миром сроднённость. Уж меня-то никак не могло обмануть ни хрипеньё прокуренных глоток, ни оскалы зубов, меж которых торчал “Беломор” или “Прима”, ни хруст кулаков, на которых синева вздутых вен была смешана с синевой татуировок. Это был мой, родной мир, и я верил, что уж он-то меня не предаст и не выдаст, не выгонит вон, не оставит меня замерзать на стылом ветру одинокой судьбы.

И пока я жил там, в недрах общей и слитно клубящейся жизни, я словно был защищён от возможных невзгод и напастей, лишений и бед. Потому что какая беда отыскала б меня в том густом и прокуренном сумраке, где и сам-то себя я не мог отыскать?

Да, это был герметический мир — мир, закрытый, словно парник или оранжерея, все его обитатели были равны меж собою и жили по правилам, общим для всех. И блюда, которыми нас там кормили, тоже были едины для всей необъятной страны: “Общепит” — он и есть “Общепит”.

Усреднённым, единым и общим там было всё: от заветренных образцов блюд на витринах, от тарелок с синим овальным клеймом “Общепит” и гранёных стаканов, от солонок с намокшею солью и банок засохшей горчицы до имён подавальщиц или буфетчиц, которые могли быть только Зинками, Клавками или, на крайний случай, Татьянами. В каком городе или посёлке ни зайдешь вот в такое кафе, всюду встретишь и толстую Клавку-буфетчицу, и фикус в углу (его кадка всегда была полной окурков), васнецовских

“Богатырей” на стене, встретишь спирали коричневых лент-мухоловок, свисающие с потолка, и всюду почувствуешь: ты здесь свой, ты — на родине.

И ещё — может, это и было важнее всего — ты всегда был уверен, что этот привычный, знакомый до скуки, уныло-родной мир советского “Общепита” так же незыблем и вечен, как какие-нибудь Гималаи. На что время могло покушаться в том мире, где нет никаких перемен, где всё так однообразно-едино, где всё словно спит в вечном сумраке?

До сих пор непонятно: куда же всё это девалось? Где тот гуляш и тот огненный борщ, где Клавка-буфетчица с её необъятной грудью, где фикус в кадке, где варёные яйца с синим клеймом на боку, где водка “Столичная” за пять двадцать пять, где гул разговоров в табачном дыму — где вся та грубая, нежная мощь общей жизни, что так густо клубилась, дышала, жила меж прокуренных стёкол в те баснословные годы, когда я был так ещё молод, а страна, что меня воспитала-вскормила — уже незаметно, но неудержимо рушилась в пропасть?

**ОГУРЕЦ.** Что ж, настала пора описать огурец. Но какой огурец мы сейчас вспомним? Молодой ли, в колочих и нежных пупырышках, только что с грядки, с ещё незасохшим цветком, или сизый, матёрый, с прилипшею веткой укропа, извлечённый из кадки с ядрёным рассолом?

Хорош что один, что другой; но, пожалуй, начнём с огурца молодого. Его ещё нужно найти, поворошив огуречные плети на грядке. Июльская ночь была тёплой — в такую как раз и растут огурцы, — а утро случилось росистым и свежим. Твоя рука, шарящая в шершавой узорной листве, уже мокрая. Но вот, наконец, замечаешь огурчик: он торчит как-то робко, ещё не касаясь земли, и весь серебристо-белёс от росы. Вот такие-то, в палец длиною, вкуснее всего. Когда, оторвав его от потянувшейся дрогнувшей плети, обтираешь колочий сухой огурец о штаны, он становится ярко-зелёным, блестящим, и в воздухе распространяется его свежий запах. Так пахнет, можно сказать, само огуречное лето: парное, обильное зноем и грозами, с непременной окрошкой на сытном столе, с долгим тихим закатом и со свистом стрижей над коровьими спинами, когда стадо, устало мыча, возвращается с выпаса.

— Огурцов нынче — пропасть! — слышишь, как сокрушается какая-нибудь деревенская бабка. — Уже и не знаю, куда их девать.

— Ох, соседка, и не говори! — раздаётся в ответ. — Вчера засолила аж две кадочки. Мой мужик столько водки не выпьет, сколь теперь у нас в доме закуски.

А закуска и впрямь — первый сорт. Особенно если огурцы не из банок, а именно из кадочки. Сверху их прикрывает деревянный кружок, который отрывается от рассола с таким вкусным чмоканьем, что хочется укусить уже его край, мокрый, пахучий, с прилипшим вишнёвым листом. А в сизо-молочном рассоле, меж смородиновых листьев и веток укропа, видны словно спины зелёных пупырчатых рыб.

— Тебе какой огурец выбрать, парень? Побольше, поменьше? — продавщица туга, молода, она и сама, словно крепко засоленный, бодро хрустящий огурчик.

— А вот такой, на пол-локтя! — твой жест получается очень уж откровенен, и баба хохочет.

— Такой, говоришь? Я давненько таких не видала...

Сдвинув к локтю рукав и запустив руку в кадку, пошарив в рассоле, весёлая баба торжественно извлекает добычу. Да, огурец и впрямь царский — не огурец, а целая подводная лодка! Рассол льётся с него, свисают, как водоросли, нити укропа, а зимнее солнце сверкает на бородавчатом — будто в заклёпках — борту.

— Отрезать на пробу?

— Ну, отрежь...

Огромным ножом — таким колот свиней — торговка отхватывает кусок огурца и страхивает, прямо с ножа, тебе на ладонь. Немного есть запахов, столь же бодрящих, как запах солёного огурца из кадочки, да ещё

в зинный солнечный день на гудящем предпраздничном рынке. А когда начинаешь хрустеть огурцом, то аж передёрнет, словно ты проглотил не кусок огурца, а стакан самогона.

— Что, хорош? — интересуется продавщица.

— Ох, и хорош! — отвечаешь ты ей, и вы оба смеётесь, сами толком не зная, чему...

Этот сизый кадушечный огурец как-то словно встряхнул, оживил и тебя, и весь мир, что шумит и клубится вокруг. И ты уже с новым, живым интересом смотрел и на эту весёлую бабу в овчинном тулупе — до чего ж хороша! — и на весь огуречно-капустный засолочный ряд, на толчею гомонящего зимнего рынка, на дымы, что встают над морозной Калугой, и на блеск куполов, отражающих зимнее солнце...

**ОЛИВКИ.** Вспоминая о Греции, первым делом представляю рощи оливок. Издалека их струящийся и переливчатый блеск примерно такого же цвета, как серебристые вѣтлы по берегам русских рек; и, когда ветер бежит по оливковым рощам, то кажется, что по ним катят волны то бледно-зелёного, то серебристого моря.

Когда же рассмотришь оливы поближе — поражает их узловатая, жилисто-грубая мощь. Каждый ствол перекручен в мучительный жгут; корни торчат из сухой каменистой земли, как колени рожавшей женщины; ветви выгнуты так, что на них больно смотреть. Дерево выглядит так, словно кто-то обрёк его на бесконечные роды, с натугой и болью которых олива давно уж смирилась, и даже находит отраду в таком вот усилии непрерывного преодоления. Каждое дерево — словно Атлант, на котором лежит груз всего мироздания; порой кажется, что именно это усилие напряжённых стволов и ветвей держит мир на последней, сомнительной грани между существованием и небытием.

Ну, а что же рожают могучие эти деревья? Оливки, которые собирают обычно с расстеленных по земле полотниц после того, как постучат по стволам и ветвям колотушкой. Они с виду вовсе неаппетитны. И кто, интересно, додумался есть эти зелёные, жёсткие, костяные плоды? Но ведь додумались, и не просто стали их поедать, а положили оливки в фундамент всей кухни Средиземноморья: грек без оливок — как русский без чёрного хлеба.

Может, в Греции просто-напросто больше и нечего есть? Ведь земля там суха и скудна; что, кроме оливок да ещё винограда могло вырасти на белёсых и пыльных античных холмах? Не забудем, что древние греки питались так просто и скудно, что вряд ли кто ныне способен им в этом следовать. Оливки, козий сыр, хлеб — вот и всё, чем кормились творцы античной культуры. Мясо случалось им есть только в дни праздников, когда забивали жертвенных коз и быков. Вино? Да, вино они пили; но разбавляли его водой в два с лишним раза, превращая вино в розоватый, почти не хмелящий компот.

Я как-то пробовал пообедать именно так, как это делали древние греки. Это было на родине спорта, в деревне Олимпия. Как раз удалось пробежать по жаре и пыли один греческий стадион по тому самому стадиону, где побеждали олимпийцы древности. Что ж, решил я, надо теперь и потрапезничать так, как они: оливками, сыром и хлебом.

Но мой заказ в ресторане, где мы обедали, вызвал почти замешательство: современность ушла от античности несколько больше, чем на один стадион. После настойчивых переговоров мне всё-таки принесли брусок козьего сыра, тарелку солёных оливок и несколько ломтиков хлеба, причём взяли за это, как за полноценный обед.

Что сказать об античной еде? Врать не буду: едал я кушанья и повкуснее. Но я был счастлив уже оттого, что сумел, причём дважды — и на стадионе, и за этой вот трапезой — прикоснуться к античности, так сказать, напрямую, не одним лишь умом, через чтение книг, но и всем существом, через мышцы, дыхание, сердце, язык и желудок. На какое-то время я перестал быть туристом и сделался словно бы греком: как древний грек, я смотрел на холм Хроноса, возвышавшийся над руинами храма Зевса, на пинии и обломки колонн между ними, слушал жёсткие трели цикад, бормотание горлинок, шарканье

ног по истёршимся плитам и гомон толпы, то есть видел и слышал почти то же самое, что и зрители древних Олимпиад. Зной густел — или это густело само задремавшее время? — и только солёная горечь оливок, которые я запивал кислым местным вином, не позволяла мне окончательно впасть в забытье, раствориться в горячем и радостном воздухе Греции...

ОМАР. Нагулявшись по итальянскому Римини, вечером мы посетили театр рыбного ресторана. Это был именно театр, то есть представление, в котором мы являлись и зрителями, и актёрами одновременно. Официант, брутального вида мужчина со шрамом на левой щеке — он напоминал мафиози средней руки — обсуждал со мною меню воплголоса, с таким скорбным, серёзным лицом заговорщика, словно речь шла о плане свержения власти в стране. Вино, которое выбрал я, он решительно забраковал. “Но’, синьор, но’! — трагически морщился он, словно мой выбор причинял ему нестерпимую боль. — Что до меня, я бы выбрал вот это...” Он указал на тосканское белое урожая 2005 года; я согласился; официант вытер со лба пот с таким облегчением, словно мы с ним только что избежали опасности, грозившей разрушить наш с ним разговор.

Мы (то есть я, жена, дочь) заказали полдюжины гребешков, рыбу на гриле, тигровых креветок под солью и, наконец — гулять, так гулять! — диковинного для нас омара. Ужин шёл своим чередом; вино оказалось и впрямь неплохим, рыба — отличной, креветки чуть суховаты, но когда в зал ресторана внесли поднос со сверкающими хирургическими инструментами, я понял, что с омаром, кажется, погорячился. Не имея понятия, зачем в ресторане нужны рёберные кусачки Листона, я выглядел, должно быть, растерянным. Недаром и наш официант-мафиози, и его молодые приятели поглядывали на меня с любопытством и плохо скрытой насмешкой: дескать, сейчас позабудемся, наблюдая, как этот русский будет мучиться с омаром! Может, так и оставит его неразделанным? То-то будет потеха...

Скоро внесли и этого жуткого зверя-омара: его глазки смотрели колоче и зло, огромные бородавчатые клешни торчали угрожающе, усы в локоть длиною, покачиваясь, свисали с овального блюда — это бронированное страшилище напоминало дракона, который вот-вот оживёт и тогда непременно нас всех растерзает. Официант грохнул на стол тяжеленное блюдо и скосил на меня издевательский глаз: ну, что ж, дескать — воюй!

Отступать было некуда. Я вздохнул, взял тяжёлые, холодившие руку, кусачки и ринулся в битву. Осколки панциря полетели во все стороны, один из них ударил мне в грудь, другой — в потолок, а третий, кажется, угодил в лоб стоявшему за моей спиной официанту. Тот застонал, отшатнулся, его молодые товарищи захохотали, но я, не обращая внимания на неизбежные в воинском деле потери, продолжал сокрушать упорно сопротивлявшегося дракона. Компания официантов, похоже, была разочарована: эти парни явно ждали иного исхода. Но откуда же им было знать, что мой хирургический стаж — двадцать шесть лет и что русских омаром не испугаешь?

Минут через восемь всё было кончено. Стол был усеян осколками панциря и забрызган масляным соусом, я отирал салфеткой лицо и руки, а официант-мафиози, склонившись ко мне, уважительно прохрипел по-английски: “It was beautiful...” — “Это было великолепно...”

Вы, может быть, спросите, вкусен ли был этот самый омар? Но вкуса его я почти не запомнил — уж очень непросто достались мне эти комочки белого и сладковатого мяса. Но точно помню, что после битвы с омаром я вышел из ресторана голодный и протрезвевший, с пустым кошельком и с чувством недоумения: зачем мы вообще сюда заходили? Ради, разве что, шоу, которое, правду сказать, удалось.

ОРЕХИ ИМПЕРИИ. Не странно ли, что моё ощущение империи — чувство, так близкое русскому и так мало понятное большинству иностранцев, — начиналось с пакетика чищеного фундука?

Это случилось ночью, на тульском вокзале, в бессонной и возбуждённой толпе, наполняющей зал ожидания. Мне ещё не было и пяти лет; мать с от-

цом перевозили меня из курской деревни, где я жил под присмотром бабушки Марии Денисовны, на новое место, в Калугу. И вот в Туле, всего в сотне вёрст от Калуги, мы застряли на целую ночь.

Вообще, тульский вокзал — тема особая. Сам зал ожидания, где мы пригнулись возле своих чемоданов, был настолько громаден и гулок, что целиком я его как-то и не воспринимал: это было нечто, выходящее за пределы моих детских понятий и чувств. Потолок мне казался высоким, как небо, а стены далёкими, как горизонт. Стенные же росписи (они сохранились, как это ни странно, доселе) изображали какую-то стройку с огнями и дымными трубами, ещё какое-то многолюдное шествие с флагами и счастливыми лицами, но это всё мне было мало понятно. Только сельский знакомый пейзаж — речка, домики, купы деревьев, — помню, немного меня примирил с монументальным искусством вокзала. Но всё равно, на вокзале было тревожно и неудобно. Голоса объявлений в динамиках звучали зловеще-невнятно, со скрытой угрозой; бесконечный поток пассажиров то и дело распаховал створки тяжёлых дверей, и по гулкому залу протягивал горький, углём и мазутом напитанный ветер. Когда же снаружи стучали составы, весь зал начинал напряжённо дрожать — так, что даже звенела громадная люстра над головами.

Зачем, думал я, мы уехали из деревенского нашего дома, где всё было тихим, родным и знакомым, где даже соседские гуси, и то узнавали меня, и уже не шипели, когда я бежал по проулку на выгон? Зачем эти гулы и гуды, и этот сквозняк, это шарканье множества ног, этот гвалт голосов, эти груды узлов, чемоданов и сумок? Эти люди — куда они едут? Разве им так уж плохо жилось в их домах, на привычных местах? Что за сила сорвала их с места и гонит куда-то?

Ко всему, — а, быть может, как раз от знобящего чувства тревоги — мне приспичило, что называется, “до ветру”. Я подёргал отца за рукав, и он повёл меня в вокзальный сортир.

Впечатление от посещения этого грандиозного заведения осталось незабываемым. Во-первых, уже на подходе мои глаза заслезились от резкого запаха хлорки и аммиака, и я видел всё сквозь какую-то слёзную муть. По жижке, которая хлопала на цементном полу, мы с отцом подошли к высоченной и мокро блестящей стене. Под ней, по наклонному серому жёлобу, журчал ручеёк, а по самому верху стены тянулась ржавая дырчатая труба.

— Отливай вон туда, — отец указал мне на серый жёлоб.

Смуцаюсь всего — и отца, и людей, и резкого неприятного запаха, и влажного блеска стены с трубой наверху — я начал копаться в одежде, пробираясь к причинному месту. И вот тут — никогда не забуду тот ужас, который меня охватил! — наверху зауричало-завылло, труба затряслась — и из дыр её рухнул бешеный, пенный и ржавый поток! Сначала я обмер — казалось, меня самого смоет этот гудящий и содрогающийся водопад, — а после, подёрнув штаны, припустил наутёк.

Так первая встреча с вокзальным сортиром окончилась моим полным фиаско. Уж не помню, как меня настигали, ловили; но зато помню, как моя мать, утешая сына после только что пережитого им потрясения и сама не зная, плакать ей или смеяться от всей этой трагикомедии, как она угощала меня чищенными лесными орехами. В кулёчке были только отборные, смуглые ядра, и я изумился: да кто же взял на себя труд все эти орехи почистить? Хорошо помню, что этот кулёчек орехов потряс меня чуть ли не больше, чем недавно — рычащая Ниагара сортира.

Ведь я, мальчик почти деревенский, хорошо представлял себе, что такое расколоть хотя бы один орех, чтобы выковырнуть из скорлупы всего одно ядрышко, часто к тому же морщинисто-кислое или червивое. То колотишь по скорлупе каким-нибудь камнем, а орех улетает, как пуля, в дорожную пыль, то мусолишь орех меж своих слабых зубов, безуспешно пытаясь его раскусить, то находишь в сарае у деда щипцы-гвоздодёры, но в их челюстях орех держится плохо, и вот уже ты орёшь благим матом, прищемив себе палец... В общем, раскалывание всего одного ореха, и то превращалось в сложное,

часто и вовсе неразрешимое дело. А тут вдруг тебе предлагают целый кулёк уже чищенных — и поразительно вкусных! — орехов.

— Где же ты их взяла? — изумлённый, спросил я у мамы.

— Они продаются вон там, в буфете, — улыбнувшись, сказала она. — Да ты ешь, ешь...

И вот те чищенные лесные орехи — они, как я после узнал, назывались “фундук” — оказались для меня связаны не просто с дорогой, но именно с тяжеловесной, имперскою мощью вокзала. Тогда, пятилетний, я уже смутно почувствовал, что есть некая сила, которая может не просто воздвигнуть вот этот громадный и гудящий вокзал, не просто построить в ней туалет со стеной-водопадом, но способна и на совсем уже невероятные вещи. Например, она может начистить целый кулёк отборных орехов и запросто угостить меня ими. Да, думал я, потрясённый, видимо, эта сила и впрямь всемогуща...

Конечно, тогда я не знал ни названия, ни источника этой таинственной силы. Но хорошо помню то чувство благоговения, которое я испытал. Это было именно благоговение, то есть смешанный с восхищением ужас, и это было, как я понимаю теперь, моё первое прикосновение к империи. Уже после, в той жизни, которую мне ещё лишь предстояло прожить, я встречу множество разных вещей и событий, которые оживят во мне это имперское чувство. Услышу ли я, как ритмично вздыхают басы духового оркестра, или увижу, как грозен и сумрачен взор чугунного маршала на пьедестале, или прочитаю тяжеловесно-имперские строки Державина, или, услышав гудок тепловоза на дальних путях, подумаю: “И велика же Россия...”

**ОСТАТКИ ЕДЫ.** Вот кто-нибудь мне объяснит, почему я всю жизнь так радовался, доедая остатки: последние ложки и ломти, то, что осталось на донце кастрюли или на бортиках сковороды? Что это: скрытая тяга к юродству? Или это стремление освободиться от пут, налагаемых жизнью, — до-есть уж последнее, чтоб ничего не осталось! — и оказаться свободным от пищи, от быта, от всяких житейских хлопот и забот, даже, быть может, свободным и от себя самого?

Начинать поедание блюда — особенно праздничного, любовно украшенного хлебосольной хозяйкой — мне всегда было как-то неловко. Казалось, что я недостоин вторгаться в торжественный кулинарный шедевр, разрушая его, словно варвар — святилище. Как это: взять да сломать розовеющей холм какой-нибудь “сельди под шубой” или, тем более, грубо обрушить башни и своды торта, напоминающего средневековый замок в миниатюре? Нужно слишком любить себя самого, чтобы бестрепетно, с полным сознанием права и силы, сокрушать труды чужих рук, да ещё получая от этого удовольствие. К сожалению или, может быть, к счастью, такой любви во мне нет, и потому за столом праздничным я всегда себя чувствую лишним и как бы незванным.

То ли дело увидишь, бывало, кастрюльку с недоеденной детками кашкой и, даже не разогревая её, поставишь себе на колени, усевшись где-нибудь в кухонном уголке. То, что ты будешь делать сейчас, называется даже не “есть”, а “подъесть” — подобрать те остатки, которые, если бы ты не наткнулся на них, были бы, скорей всего, выброшены.

И вот только в остатках еды я ощущал настоящий вкус пищи и настоящую радость общения с ней. В такие минуты с кастрюлькой в руках любая каша, даже столь нелюбимая детками манная, казалась тебе настоящею манной небесной. Каждая ложка была словно бы подаянием, которое ты принимал со смирением и благодарностью, то есть именно так, как и надлежит принимать подаяние. Особенно сладки бывали остатки остатков: то, что ты открывал со дна и со стенок кастрюли. Орудя ложкой, ты и мычал, и сопел от удовольствия, которое омрачала лишь только его скоротечность: кашка, увы, исчезала быстрее, чем я пытаюсь сейчас описать, как её доедал.

Я уверен: любой, доедающий кашку младенца, становится, пусть на время, но лучше себя самого. Согласитесь, что человек, подъедающий кашку из детской кастрюльки, в этот момент неспособен к злодейству, предательству, даже просто-напросто грубому слову: ангел детства витает над ним, осеняя

своими крылами. И разве можно сравнить эту детскую кашку с каким-нибудь брызжущим кровью бифштексом? И человек, поедающий то и другое — разве это один человек? И когда — за бифштексом или кашкой — он будет ближе к себе настоящему? Недаром же пост — то есть жизнь на остатках, на самой непритязательно-скромной еде — является старым, испытанным средством очищения и обновления человека.

Эта особенность — любовь к подъяданью остатков — всегда проявлялась во мне и во время походов. Идешь, например, укладывать в лодку мешок с провиантом, увидишь, что там остаётся всего ничего — полпакета крупы, пара луковиц, да пяток сухарей — и почувствуешь, как твой рот сам собой расплывается в непроизвольной улыбке. А причина-то этой нечаянной радости в том, что осталось так мало еды, и придётся теперь или поголодать, или всерьёз приниматься за рыбную ловлю.

Тут дело, скорее всего, в том, что, оставшись совсем без еды, мы готовы отдать себя воле и милости Божьей. “Бог даст день — Бог даст и пищу”, — всё слышней начинает звучать в наших душах народная мудрость. Будет клёв — будет рыба; подвернётся хороший лесок — наберём подберёзовиков или лисичек; встретим малинник — полакомимся малиной. Ну, а если не будет ни того, ни другого, поголодать тоже невредно.

Доедая остатки, мы избавляемся от иллюзии нашей самодостаточности (то есть, по сути, гордыни) и передаём себя попечению свыше. Мы становимся, в полном смысле, “у-богими” — теми, кто жив только милостью Божьей. И поэтому только, пожалуй, в походах, когда иссякают запасы еды, я становлюсь вполне сам собой, совпадая с той редкой фамилией, что мне досталась от предков.

(Окончание следует)